

ЗАПИСКИ

Николая Александровича Иваницкого.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Условия, созданные Октябрьской революцией для опубликования различных материалов, характеризующих ссылку давно прошедших лет, дают возможность опубликовать целый ряд документов и воспоминаний как самих действующих лиц—бывших ссыльных, так и документов, относящихся к жизни и деятельности этих людей: материалов охраны и проч. Одним из таких памятников былого являются печатаемые ниже „Записки“ Н. А. Иваницкого, характеризующие быт и нравы современного 60—70 годам прошлого столетия вологодского общества и дающие ценный и интересный материал по истории и характеристике тогдашней ссылки.

Личность Иваницкого настолько примечательна, что о ней необходимо сказать несколько слов.

К сожалению, не сохранилось сколько нибудь полных сведений о жизни этого замечательного человека и деятеля Севера. Те немногие данные, которыми мы располагаем о его жизни, таковы.

Н. А. Иваницкий родился в Вологде, в 1845 г. О родителях его ничего неизвестно. Учился Н. А. во 2-ой Петроградской гимназии, по окончании которой и поступил в Петроградский Университет. Но окончить его ему не удалось, т. к. в связи со студенческими волнениями в 60-х годах он с первого же курса университета был выслан на родину, в Вологодскую губернию, где и прожил затем большую часть своей жизни.

Первое время он занимался репетиторством и, перегоняемый жандармами с места на место, жил в Вологде, Тотьме; затем, после кратковременных поездок на юг—в Екатеринослав, Тавриду,—и в Петроград, снова вернувшись в Вологду и в конце концов здесь же поступил на службу телеграфным учеником. Судьба и здесь не оставляла его в покое и мы видим его на этой службе то в Ярославле, то в Вытегре и, наконец, опять в Вологодской губернии.

Повидимому, после этого наступает в жизни Н. А. более или менее спокойный период, в течение которого он усиленно занимается ботаникой, этнографией и литературой.

Затем известно, что спустя более 15 лет после этого, Н. А. Иваницкий служил, хотя и очень недолгое время чиновником особых поручений при Архангельском губернаторе, а после этого в Никольском и Кадниковском земствах, в последнем—библиотекарем.

В 1897 г. он уехал в Петрозаводск, а оттуда в Сибирь, где работал в качестве чиновника особых поручений при Переселенческом Управлении. Через год, в 1898 г. он был переведен в Никольск-Уссурийский, где и умер 11 ноября 1899 г.

Таковы отрывочные внешние данные этой беспокойной жизни.

Но не в них заключается значение и интерес личности Иваницкого. Это имя, знакомое только узкому кругу ботаников, этнографов и краеведов Севера, имеет все права на более широкую известность в Северном крае.

Его ботанические и этнографические работы имеют значение для всего Севера и до сих пор служат исходным материалом для всех последующих работников в этих областях, составляя классический вклад в местную и вообще русскую флористику. В свое время эти работы были достаточно оценены различными научными обществами Русским Географическим, Московским обществом любителей естествознания, антропологии и этнографии и др., членами которых он состоял. Некоторые из его работ нашли себе место и в заграничных изданиях, т. к. Иваницкий вообще имел широкие связи с заграничными ботаниками—Энглера, Янкой, Christ'ом и др. и благодаря этому обстоятельству многие гербарохранилища Европы (Берлинские, Шведские) имеют материалы по флоре нашего края, собранные рукой неутомимого краеведа.

Вот его работы в этой области:

1. Ботаническая прогулка из Вологды на Печору. Вологодск. губ. Ведомости, 1882, №№ 32—36.
2. Ueber die Flora des Gouvernements Wologda, Engler's, Bot. Jahrb. III, 5, 1882.
3. Список растений Вологодской губернии, как дико растущих, так и возделываемых на полях и разводимых в садах и огородах. Труды Общ. Естествозн. при Казанском Универс., т. XII, вып. 5, Казань, 1884.
4. Verzeichniss der im Gouvernements Wologda. Wildwachsenden Pflanzen. Engler's, Bot. Jahrb. XI, 4, 1889.
5. О Вологодской флоре (совместно с А. А. Снятковым)—в рукописи, 90-е годы.
6. Cataloge des plantes cruissant dans les gouvernements de Wologda et Archangel. „Le monde des plantes" dirigé par le prof. H. Leville, IV, 1894, Paris.

Не менее важно отметить Иваницкого, как этнографа. Огромное количество его этнографических работ и заметок рассеяно по самым разнообразным русским изданиям. Он собрал и дал прекрасный материал по Вологодской песне, сказке, обрядам, словом, первый поставил на рельсы своим примером дело изучения края с этой стороны. Укажем здесь на следующие его работы в этой области.

1. Материалы по этнографии Вологодской губернии. Сборник сведений для изучения быта крестьянского населения России, вып. 2.,

под ред. Н. Харузина. Изв. М. О. Л. Е. А. и Э., т. LXIX. Труды Этнограф. Отд., IX, вып. I, М. 1890.

2. Заметки о народных зерованиях в Вологодск. губ. Этнографическое Обозрение, X, 1891.

3. Сольвычегодский крестьянин, его обстановка, жизнь и деятельность. Жив. Стар. 1898.

4. Песни, сказки, пословицы, заклинания и загадки Вологодской губ., Архив Геогр. Общ., получено в 1882.

Последний труд представляет солидный том в 498 стр. 2^о.

Наконец, здесь же необходимо отметить, что Иваницкому *первому* принадлежит мысль о создании в Вологде музея местного края, что видно из „Письма из Кадникова“, помещенного в жур. „Жив. Стар.“ (вып. 3, 1891, стр. 193—195). В этом письме он говорит о наличии музейных материалов, коллекций в Вологде, о культурных настроениях в уездных городах (особенно в Тотье), где будет получен отклик на устройство губернского и местных музеев и в то же время жалуется на отсутствие свободных людей, которые могли бы всецело отдаться музейному делу и просит послать особого организатора из Географического Общества.

Таков Иваницкий, как ботаник и этнограф. В печатаемых ныне Записках он выступает перед нами с третьей стороны—как бытописатель и художник слова.

Вообще черта художественности была в нем развита сильно. Из под его пера вышел ряд рассказов, стихотворений и т. п., в свое время напечатанных в различных периодических изданиях (жур. „Дело“, 1871., „Всемирная Иллюстрация“,—1876, „Неделя“—1879, „Вологодский сборник“—1884 г., „Детский Отдых“—1889 г. и т. д.).

Вместе с рукописью Записок в распоряжение редакции доставлена тетрадь стихотворений Иваницкого, оригинальных и переводных: из Гейне, Рюккерта, Трегера, Эйхендорфа и др. (Иваницкий вообще превосходно владел французским, немецким и английским языками). Большинство из этих стихотворений отличаются значительными художественными достоинствами, а переводы могут быть поставлены в один ряд с лучшими нашими переводчиками—Вейнбергом, Михайловым и т. д. *).

Стихотворения эти являются прекрасным дополнением к характеристике, которую дают Записки общественным настроениям того времени, а также более ярко характеризуют автора записок, поэтому на них мы остановимся несколько подробнее.

*) Для сравнения приводим одно из стихотворений Гейне, в переводах Иваницкого и Вейнберга.

Перевод Иваницкого:

Что гнусно ты так поступала,
О том пред людьми я молчал,
Но вышел на синее море
И рыбам там все рассказал.

Я доброе имя оставил
Тебе на земле меж людей,
Зато уж во всех океанах
О низости знают твоей.

Перевод Вейнберга.

Как ты гнусно поступала,
От людей я все скрывал,
Но в открытом море рыбам
Я об этом рассказал.

Имя доброе имеешь
Ты на суше лишь с тех пор,
Но в широком океане
Всем известен твой позор.

Большинство их лирического характера, хотя к лиризму всегда у Иваницкого примешана значительная доля мотивов более широких, чем личные переживания.

Его скитания вольные и невольные, которыми так богата жизнь Иваницкого, соответствуют характеру и потребностям его натуры, не лишенной склонности к передвижениям и, во всяком случае, совершенно чуждой всякому мещанскому счастью. Лучше всего эта черта выражена Иваницким в следующем стихотворении, переведенном из Рюккерта:

Так живи, чтоб быть всегда готовым
Завязать свой узел и нести,
А не вей веревки кропотливо,
Чтоб себя не дать на ней вести.

Но для нас наиболее интересны стихотворения, отражающие общественно-политическую физиономию автора. Общее, что характерно для такого рода стихотворений, это симпатия к угнетенным. Приводим два из этих стихотворений, одно переводное (№ 43*)—Рюккерт, № 38—оригинальное):

№ 43. Как тихо всходит к небу
Из хижин синий дым.
Но тихо-ль там живет
И хорошо ли им?
Ах, сумрак и кручина
Даны на долю им...
Как тихо всходит к небу
Из труб их синий дым.

№ 38. Я собирал цветы мои
Не под стеклом теплицы душной,
Но в поле вольном, где течет
Поток лазоревый, воздушный.
Я собирал цветы мои
Не в клумбах сада городского,
Но в глубине родных долин
Среди безмолвия лесного.
И я букет из них вязал
Не для красавиц чернооких,
Но для трудящихся, для всех
Забывших, скромных, одиноких.

Наконец перед нами ряд стихотворений с чисто общественными мотивами. К сожалению, не указано, к какому году относится каждое из них. Судя по настроению—это эпоха конца 70-х и 80 годов. Приводим наиболее характерные из них, при чем все они—оригинальные.

№ 56. Сырая ночь, туман и мгла
И душен воздух недвижимый;
Душа как будто замерла
В когтях тоски невыразимой.

*) Нумерация везде подлинной тетради Иваницкого. Р е д.

Мерцают красные огни
Бессильно, тупо и уныло,
И мысли тупы, как они
И безнадежны, как могила.

Настанет утро, но о нем
Никто быть может не узнает,
Да мы уж утра и не ждем,
Душа уж света не желает.
С тоской и холодом она
Давно, давно уже сроднилась
И с царством сумрака и сна
Чуть пробудившись, примирилась.

№ 62. Эти бледные тихие ночи,
Эти яркие долгие дни,
Эти смутные думы и грезы
Говорят—это близость весны.
Да, я вижу лучи разгоняют
Стаи серых и сумрачных туч,
Только в наше заглухшее сердце
Не ворвется живительный луч.

Пробудятся в нем думы и грезы
Словно мухи за тусклым стеклом
И умрут в своей жаркой теплице—
Это старый покинутый дом.
и т. д.

Этот же мотив, но в сатирической форме, чувствуется и в другом стихотворении—немного нескладной и дубоватой, но яркой эпиграмме на тогдашнюю интеллигенцию:

Ты говоришь: как гордый лев
Я чахну медленно в неволе
И если-б вырваться я мог,
То гибель ждет меня и в поле.

Во-первых, вовсе ты не лев,
И добровольно здесь томишься,
А если в поле не бежишь,
То потому, что львов боишься.

Краткое резюме эта эпоха разочарований, усталости, сознания своих ошибок и неверности того пути, по которому шло общественно-революционное движение того времени, нашла в стихотворении:

Когда приду я снова,
Чтоб новый план уж был,
На этот раз неверно
Его я начертил.

План начерченный передовой интеллигенцией тогдашнего времени действительно оказался неверным. Но новый план начертили другие люди, другие руки. Уже в 1883 году появилась первая группа социал-демократов в России (заграничная группа Плеханова, Аксельрода и др. „Освобождение Труда“), с этих пор революционное движение пошло по другой дороге, более верной и приведшей в конечном результате к октябрю 17-го года.

Нам остается сказать несколько слов о Записках. История их такова. Записки написаны в 3-х ч., при чем в редакцию доставлена только 2-я часть (печатаемая нами) и то черновик рукописи. Остальное утеряно и повидимому безвозвратно. Рукопись 2 й части написана в 1886—87 г. в Никольске, где Иваницкий в то время служил почтмейстером и послана была (б. м. вместе с другими) его приятельнице С. П. Брянцевой. С тех пор она хранилась под спудом вплоть до 1922 г., когда наконец попала в руки пишущего эти строки.

Записки печатаются нами с некоторыми сокращениями, а именно—все, что представляет интерес узко-семейный, к тому же без связи с 1 частью, на которую автор ссылается, и не может быть понято, редакция не печатает.

Кроме того, произведены незначительные сокращения чисто-редакционного свойства.

Записки, как это было уже сказано, дают характеристику тогдашней ссылки и представляют значительный интерес в следующем отношении.

Будучи далеко незаурядной личностью вообще и видным работником науки в отраслях нами указанных, в политическом отношении Иваницкий был рядовой фигурой. Хотя судьба и сталкивала его с такими видными политическими фигурами, как Лавров и Шелгунов, но в близких отношениях он с ними также не был и вообще в качестве более или менее определенных убеждений Иваницкий имел только одно—ненависть к царскому строю, дальнейшее повидимому его не интересовало.

Именно потому, что он был рядовым политическим ссыльным, его Записки в отношении *быта* ссылки и представляют большой интерес, так как быт, повседневная жизнь меньше всего освещается в мемуарах, воспоминаниях и т. п. видных политических деятелей и конечно еще меньше в официальных документах.

Записки написаны простым, безыскусственным языком, порою с оттенком сентиментальности, но в общем очень недурным в литературном отношении и легко читаются.

Конечно Записки не свободны от некоторой субъективности, тем более, что Иваницкий вообще был большим индивидуалистом, но в общем и целом это—правдивая картина тогдашней ссылки.

Любопытно было бы сопоставить ссылку 60-х годов с ссылкой 90-х и более позднейших лет, но такое сопоставление не входит в нашу задачу; насколько окажется возможным, редакция будет проводить это сравнение воспроизведением ряда живых документов, освещающих различные времена ссылки.

Но в двух словах мы попытаемся дать краткую характеристику ссылке конца 60-х и начала 70-х годов, к которым относятся события, изображенные в Записках.

Первое, что резко бросается в глаза, это *патриархальность* тогдашней ссылки. Ссылные живут в значительной мере единой жизнью и едиными интересами с чиновничеством и мещанством города. Даже



Н. А. Иваницкий.

такие фигуры, как Лавров и Шелгунов, не чуждаются общения с так называемым „обществом“. Особой колонии ссыльных нет, как например, позднее, когда ссылка представляла другую социальную категорию, чем местные аборигены и жила совершенно отдельной жизнью. Ссыльные же описываемого времени с удовольствием ходят в гости, на вечера местного чиновничества, ухаживают, женятся и даже являются в глазах этого чиновничества завидными женихами. Это вполне понятно: тогдашняя ссылка—плоть от плоти и кость от кости этого самого общества, ибо второе, что характерно для нее это исключительно интеллигентский ее состав. Обычные фигуры ссылки—студент, курсистка, реже профессор и т. п.; еще не встречается рабочий с фабрики или завода, который впоследствии значительно изменил социальный облик ссылки. И в значительной степени безжалостная характеристика интеллигенции, сделанная Иваницким в его стихотворении, относится и к тогдашней ссылке.

На этом мы и кончаем наше затянувшееся предисловие и в дальнейшем отсылаем читателя к самим Запискам.

Я. Кузьмин и И. Перфильев.

ЗАПИСКИ.

Часть II.

I. Вологодская ссылка.

6 июня состоялся наш торжественный въезд в Вологду. Мы достигли Губернского Правления, перед которым и стояли на улице долгое время,—не помню для чего. Отсюда вернулись в острог, мимо которого проезжали ранее. Я уже привык к пребыванию в этих благотворительных заведениях, так что был рад, когда мне указали камеру, где я мог лечь и отдохнуть, в ожидании дальнейших странствований.

Как всегда, я был вместе с Гедговдом. Этот человек мне понравился с первого взгляда, и чем больше я его узнавал, тем более склонялся к мысли, что он заслуживает уважения. Среднего роста, сухощавый, некрасивый собой, с русыми, коротко-остриженными волосами, пожалуй не в меру красным лицом, серыми, блестящими и острыми как сталь глазами, рыжими усами над гордо сложенными, часто складывавшимися в презрительную усмешку губами, он всем видом своим производил впечатление человека гордого, непреклонного, независимого. При этом (большая редкость среди католиков, сколько я знаю), он был совершенный атеист. Последнее обстоятельство меня поразило тем более, что я открыл его уже незадолго до приезда нашего в Вологду. Как все люди, с прочно установившимися убеждениями, Гедговд не заводил речи о своих религиозных воззрениях, но когда подошел случай высказать их, он заявил твердо и хладнокровно, что не принадлежит ни к какому вероисповеданию и искренности его заявления нельзя было не поверить. Я впрочем убедился в этом впоследствии, когда мы снова встретились с Гедговдом в Тотьме.

И так, мы поместились в одной камере, напились чаю, закусили, легли на нары и завели разговор.

— Нам предстоят еще два острога: в Кадникове и в Тотьме, сказал я.

— Чорт бы их побрал. А что вы намерены делать в Тотьме?

— Совершенно не знаю. А вы что?

— И я не знаю. Но я знаю одно, что мы оба не пропадем. В ссылке нет ничего страшного.

— Я не нахожу ничего покамест. Я думал, что будет хуже.

— Я тоже. Я предполагаю сперва заняться ремеслом какимнибудь. Я умею резать из дерева, умею плести волосяные цепочки и так еще кое-какие пустяки... А вы умеете что-нибудь?

— Я уже вам сказывал, что единственное знание, которое вывожу из Петербурга, это умение красиво, быстро и грамотно писать.

— Это немного. хотя кое-что и значит.

— Но вы, может быть, меня поучите чему-нибудь.

— Что знаю, тому выучу. Я знаю недурно и поваренное искусство; я, пожалуй, и сельский хозяин, только этих познаний приложить будет не на чем; заниматься сельским хозяйством можно только за городом, а меня, ведь, из города не выпустят... Ну, там, со временем, пооглядимся, так увидим. Вы ведь можете давать уроки, однако.

— Ну да, насколько я приобрел в гимназии познаний, только что это за познания!

— Все таки учить читать, писать и считать вы можете, притом знание языков—вот важная штука.

— Однако давать уроков мне не позволят.

— Да может быть не позволят ни есть, ни пить. Не позволять можно, да ведь можно и внимания на это не обращать. Вы сами же не раз приводили пословицу: и строг ваш приказ, да не слушают вас. А здесь у вас есть знакомые?

— Есть даже и родственники, но меня к ним не отпустят, да если бы и отпустили, я не пойду. Подумайте только: явился с визитом под конвоем двух солдат с заряженными ружьями.—Честь имею рекомендоваться, ваш родственник такой-то.—А здравствуйте, где вы оставились?—В остроге!

— Да, сказал Гедговд, смеясь,—такому визиту не будут рады и близкие родственники, не только дальние...

— Если бы мне пришлось жить в Вологде, а не в Тотьме, я бы познакомился с Шелгуновым.

— Кто это Шелгунов?

Я рассказал, кто такой Шелгунов. Мне было известно, что Шелгунов сослан в Вологду и живет здесь.

Высказанное мною Гедговду желание познакомиться с Шелгуновым послужило впоследствии поводом к моему знакомству с Лавровым: Гедговд перепутал фамилии Шелгунова и Лаврова, а чин полковника имели, как известно, и тот и другой.

Когда мы таким образом лежали и болтали, явился смотритель острога и, обратившись ко мне с поклоном и любезностями, сообщил, что меня желает видеть одна дама.

— Вот счастливцев, воскликнул Гедговд, едва успели приехать, а уж дамы его желают видеть. Э, да вам нечего горевать!

Я встал и последовал за смотрителем в канцелярию. При входе моем ожидавшие меня там мужчина и дама встали и пошли мне навстречу.

Это был Шевяков и жена его Александра Павловна, урожденная Мельгунова, бывшая супруга дяди моего Федора Августовича Гейне.

Как примирительно подействовала на меня ласковая встреча и привет этих добрых людей! Из письма к ним Н. П. Макшеева они узнали, что я сослан в Тотьму и тотчас же принялись хлопотать о том, чтобы меня оставили в Вологде. Устроить это дело взял на себя полицеймейстер Ник. Ник. Зубов, бывший некогда учеником бабушки моей Софьи Ивановны.

Губернатором в Вологде был в то время С. О. Хоминский, поляк. Зубов обратился к Хоминскому с просьбой оставить меня в Вологде, уверяя его, что знал моих родителей и может поручиться за мое доброе поведение. Хоминский согласился, хотя, собственно, и не имел на это права, так как местом моего жительства назначена была именно Тотьма.

Шевяковы сообщили, что завтра меня потребуют в Полицейское Управление, где Зубов объявит мне об оставлении меня в Вологде, затем пошлют в Губернское Правление для выдачи рукописей, взятых у меня при обыске в Петербурге и присланных сюда, после чего они, Шевяковы, возьмут меня к себе. Я могу у них жить, отдохну от всех перенесенных мною тревожений, а между тем подыщутся уроки или другие какие-нибудь занятия.

Так оно все и произошло. На другой день я перебрался к Шевяковым, которые нанимали квартиру на Козленской улице в доме Базилевской. У них была фотография, доходами с которой они и жили. Мне предоставили в распоряжение небольшую комнату, где я и расположился. А П. Шевяков был развитой, довольно образованный, живого, увлекающегося характера, красивый собой мужчина. Сколько мне известно, он женился на Александре Павловне не по любви, а по расчету: у нее был свой домик и небольшой капитал. Домик они продали и на вырученные деньги открыли фотографию, которая, благодаря трудолюбию и ловкости обоих супругов, привлекла массу заказчиков. По летам Шевяков уезжал обыкновенно в какой-нибудь уездный город, жена его оставалась в Вологде и продолжала работу с помощником: инструменты и все принадлежности у них и были заведены на случай разъездов в нескольких экземплярах. В то лето, о котором идет речь, Шевяков уехал в Новгородскую губернию, жена осталась в Вологде. Помощником ее был некто Петр. Дм. Дубровский. Сама Шевякова не знала фотографии, но исполняла все побочные манипуляции при работе: приготавливала картон, копировала карточки, промывала их, наклеивала, вальцевала и проч.

6-го числа, когда я был приведен из острога в Полицейское Управление для объявления решения Губернатора, меня встретил там полицейский чиновник, который приветливо подал руку и рекомендовался: помощник пристава Е. Ф. П—в. Это был весьма красивый собой и весьма симпатичный мужчина лет 30-ти: небольшого роста, плотный брюнет с большими усами и огненными глазами. Он крепко пожал мне руку и просил прежде всего не обращать внимания на его поли-

цейский мундир, а, если можно, полюбить его; он обо мне не мало слышал и желал бы заслужить мое расположение.

В самом деле, П. столько же походил на полицейского и столько же годился для своей должности, сколько и я. Он учился в семинарии и вследствие разных неблагоприятных обстоятельств, должен был оставить заведение и схватиться за первое попавшееся место. Он был женат и имел ребенка. Он находился в близких отношениях с Шевяковой и проводил у нее целые вечера. Веселый и остроумный собеседник, он прекрасно пел, аккомпанируя себе на гитаре.

П—в предложил мне известить С—ва и Павлова, о которых я ему рассказывал, чтобы письма свои ко мне они адресовали на его имя, конечно без обозначения передачи, а с какимнибудь условным знаком, по которому П—в узнает, что письмо назначается для передачи мне, так как все письма на *мое**) имя должны предварительно поступать на прочтение полицеймейстеру, а это, натурально, не может быть мне приятно. Я так и сделал и стал получать письма через П—ва.

— Как же вы решаетесь предлагать мне подобные вещи? спрашивал я П—ва. Ну, вдруг узнают, что вы передаете мне письма,— что тогда?

— Решаюсь я на это потому, что я не жандарм и не сыщик. А если узнают—выгонят, вот и все. Поводов же к лишению должности по сотне на каждую неделю, так уж сто первый ровно ничего не значит. Подумайте сами, разве у нас можно служить *по принципу*? У нас все служат для хлеба насущного и при господствующем произволе и беспорядке должны ежедневно и ежечасно трепетать за свое место. К этому трепетанию до того, наконец, привыкаешь, что становится все равно ну, соответственно этому и действуешь... Да и риск-то, право не велик. Сегодня я служу приставом, завтра сделаюсь бухгалтером, через месяц акцизным, из акцизного ведомства перейду в учителя, наконец, в попы, если наскучит „светская“ жизнь. У нас ведь не спросят: знаешь ли бухгалтерию, педагогию или какую-либо специальность, была бы только протекция... Вот если протекции нет, да нет и деньжонок, чтобы подсунуть, где нужно, для получения местечка, тогда кричи караул! Оттого и выходит, что у нас все перепутано и перемешано до последней возможности: человек, который не умеет себе носа высморкать—управляет целым учреждением, человек обладающий способностями и высоко образованный служит писцом за 5 р., человек по убеждениям и способностям отличный сыщик—служит пом и т. под.

П—в удивлялся тому, что я целые дни просиживал за книгой или с пером в руках, что я не захожу знакомств—хоть бы вы познакомились с кемнибудь! восклицал он; здесь есть много порядочных людей, одинаковых с вами убеждений.—А вы знаете Шелгунова? спросил я.— Конечно знаю; хотите, познакомлю. Пойдемте сегодня в клуб, я вас представлю.

После некоторого колебания, я согласился и вечером мы отправились в клуб.

*) Курсивом печатаются слова подчеркнутые автором. Р е д.

Многолюдство и большие комнаты клуба, произвели на меня вовсе не то впечатление, на которое рассчитывал П—в. Пройдясь с ним раза три по залам, я стал подумывать о том, как бы мне улизнуть домой, но вспомнив о газетах, я оставил П—ва заговорившего с каким-то мужчиной, прошел в читальную комнату, сел к столу и взял газету. Минут через десять в дверях показался П—в с другим мужчиной, одетым в статское платье, некрасивым собой, с резкими грубыми чертами лица, серыми, тусклыми глазами, рыжеватыми усами и такой же бородкой на французский манер. П—в подвел ко мне этого мужчину и рекомендовал: Николай Васильевич Шелгунов.

Завязался разговор, из которого у меня в памяти остался лишь один вопрос Шелгунова: „вы пишете?“, на что я ответил *нет*. Это был первый и последний мой разговор с Шелгуновым. В дом к нему с визитом я не пошел, встречался с ним после того два раза в квартире Лаврова, но в беседу не вступал, он мне не понравился. Шелгунов жил в нескольких уездных городах Вологодской губернии и из Вологды был переведен в Калугу. Он не оставил по себе особенных воспоминаний в местах своего пребывания, как оставили многие политические ссыльные, хотя мог назваться человеком общественным и, конечно, везде был принят. Причиною тому, может быть, был его резкий, жесткий характер; он не умел привлекать и привязывать к себе людей, как это бесподобно умел Лавров и многие другие, даже несравненно менее образованные и обладающие даром слова, чем Шелгунов.

Вологодское общество, в то время, о котором я рассказываю, делилось на следующие кружки: знать, т. е. масса потомственных дворян: Дружинины, Левашовы, Волконские, Брянчаниновы, Волоцкие, Зубовы и проч. и проч., чиновничество, к которому примыкало и купечество; поляки (так называемая *польская партия*) и, наконец *передовые*. Это, впрочем, мое название. Сюда принадлежали все политические сосланные (человек до 60-ти), и множество лиц из разных сословий. К этому кружку, без моего впрочем спроса, был причислен и я.

После неудачного знакомства с Шелгуновым, последовало не более удачное знакомство с Вознесенским, Авессаломовым, Дороховым, Кедровским; я забыл их имена. Эти люди мне не понравились, как не нравились вообще все одноклассники семинаристы. Противен обскурант-поп, но еще противнее либерал-попович. В первом по крайней мере есть искренность: человек не скрывает своей профессии: наддувало-обиратель, притом он всегда человек терпимый: платите ему только двугривенные, да пятацальные, там хоть постройте капище Молоху, он вас не тронет. Между тем попович со своими либеральными идеями хуже иезуита. Иезуит опять таки выше поповича-либерала, потому что непременно образован, попович если и образован, непременно односторонне. Всего же хуже в поповиче его крайняя нетерпимость к чужим мнениям.

Люди, о которых я сейчас упомянул, были помешаны на сочинениях Писарева. Выше творений этого последнего они ничего не находили и находить не хотели. Когда я высказал, что много идей Писа-

рева не разделяю, и вообще не считаю Писарева реформатором и что еще это вопрос подлежащий обсуждению: принес ли Писарев своими сочинениями более пользы, чем вреда, они пожимали плечами с видом сожаления, как пожмет плечами человек, когда ему скажут: это еще вопрос, чем лучше дышать человеку: свежим ли воздухом лесов и полей или спертým воздухом тюрьмы.

И такими эти люди остались на всю свою жизнь, они и теперь поклонники Писарева и служат молебны его тени, как только соберутся вместе.

Дубровский, живший у Шевяковой, познакомил меня со своей семьей. Эта семья состояла из старухи-матери и двух ее сыновей: Федора, парня лет 19-ти, болтавшего без дела и Александра 15 лет, учившегося в уездном училище. Этот Александр понравился мне с первой встречи и остался навсегда моим любимцем. В этом ребенке заключались черты в высшей степени симпатичные, так что самые деревянные натуры—и те любили Сашу. Саша был небольшого, по своим летам, роста, худощавый, бледный, с темнорусыми волосами и темными задумчивыми, но добрыми и ласковыми глазами. Он редко смеялся, а если и смеялся, то как-то натянуто, неестественно, но улыбка его была очень привлекательна.

Вскоре после того, как началось мое знакомство с Дубровскими, Саша оставил училище, не знаю по какой причине и вздумал поступить на службу в телеграф. Он не был особенно любознателен, но сознавал, что ничего не знает, что ему надо поучиться и просил меня заняться с ним. Я, конечно, взялся и мы стали ежедневно заниматься грамматикой, арифметикой, географией и чтением книг по моему выбору. Саша не был особенно прилежен, но и не ленился, а все исполнял спокойно, ровно и потому успевал больше многих „способных“, занимающихся один день прилежно, а четыре скверно.

В квартире Дубровских я встретил в первый раз их родственницу Надежду Михайловну Каскевич, вдову лет 35-ти, имевшую четверых детей. Каскевич жила в собственном доме на Московской ул. вместе с сестрой своей Верой Михайловной Смекаловой, девицей лет 25-ти. Третья сестра Каскевич была замужем за известным Н. Ф. Бунаковым. Фамилию Бунаковых я упоминал в 1-й части моих записок. В доме старика Бунакова я увидел свет. Николай Федорович женился на Александре Смекаловой сколько по любви, столько же и по увлечению ее умом и необыкновенно живым и веселым характером. На умственное развитие Александры Михайловны, равно и сестер ее Надежды и Софьи, имели большое влияние политические ссыльные, которые в доме Н. М. Каскевич и ее сожителя Н. А. Морозова, были всегда почетными и желанными гостями. Александра М., будучи еще девицей, увлекалась сильно новыми веяниями и слыла в городе „отчаянной“, в особенности о ней заговорили много, когда она вздумала ходить в мужском платье—и ходила. Бунаков женился на ней и они уехали в Петербург, где Александра М. стала учиться и выдержала экзамен на акушерку. Впоследствии она разошлась с мужем, вернулась в Вологду и жила одна, занимаясь воспитанием сына своего Александра.

Два сына Надежды М. Каскевич учились в гимназии, и так как учились плохо, то Каскевич и предложила мне быть при них репетитором. Это были мои первые уроки за плату (6 руб. в месяц; с Дубровским я занимался безвозмездно); плата эта для меня была тем более кстати, что я некоторое время буквально рисковал умереть с голоду.

Надо вернуться назад и рассказать следующее.

Согласно своему обещанию я тотчас по приезде в Вологду послал матери доверенность на получение моей части за издание отцовских задач. Как читатель знает, я поселился у Шевяковой по ее предложению, пожить у нее, пока не приищу себе каких-нибудь занятий и пока мне не выйдет пособие от казны, как „политическому“ сосланному в размере 6 р. в месяц. Июнь месяц прошел, а занятий никаких мне не выпадало и пособия не выходило. Да и какие могли быть занятия. Человека, состоящего под надзором полиции, не пустят ни в какое казенное учреждение, хотя бы на должность писца; единственная возможность заработать что-нибудь—это уроки, между тем давать уроки было строжайше запрещено. Положим, обыкновенная полиция, если бы и узнала, что я хожу на уроки, не стала бы преследовать меня (по характеристике П-ва читатель знает уже, что эта полиция была далека от каких бы то ни было преследований), но полиция жандармская, с полковником фон-Мерклинг во главе, неукоснительно доносила куда следует о всех противозаконных (слово *законных* выходит здесь довольно смешно) деяниях подведомственных ей лиц и результатом являлась обыкновенно высылка в уездный город, что было и со мной, как увидит читатель ниже.

И так июнь месяц я провел в том, что все осматривался и раздумывал, куда бы и к чему мне пристроиться и доосматривался до того, что Шевякова уложила свои фотографические аппараты, взяла Дубровского и уехала из Вологды, обещая вернуться в августе. Правда, она просила меня не стесняться, жить у нее как прежде и распорядилась, чтобы кухарка готовила мне обед, ставила самовар и проч. Это все так сперва и делалось, но я был без гроша денег, между тем надо было курить, надо было покупать бумагу, перья и многое другое, наконец, сделать кое-что по гардеробной части. Я занял 5 р. у Попова и вместе с тем написал матери, прося ее послать мне „деньженок“. Две недели прошли, а деньжонки не являлись. Кухарка стала уходить на целые дни, так что вставши, например, утром и спустившись в кухню с тем, чтобы умыться и спросить самовар, я находил кухню на замке, возвращался наверх и сидел у окна с книгой в ожидании прихода кухарки. Но так как кухарка не являлась, а голод был тут и неотступно требовал удовлетворения, приходилось идти и искать где-нибудь пропитания. Но куда идти? К Попову? Он на службе, а жена занята по хозяйству и ей не до гостей. К Дубровским? Я с ними только что познакомился и единственное угощение, которое они могут мне преподнести—голый чай. Эти люди были еще беднее меня. Заложил свои часишки за 5 р. И эти деньги вышли, а „деньженок“ нет как нет. Занял у Попова еще 1 р. и послал матери телеграмму с просьбой о помощи. Был один такой день, что с утра и до 8 часов вечера ничего не ел; ходил весь день по комнате в каком-то тупом, окаменелом состоянии, однако, хорошо помню, в отчаяние не впадал,

думал только: надо ко всему привыкать и даже иронизировал по адресу матери. Мать имела привычку приводить немецкую пословицу: wenn die Noth ist am schwersten, ist Gott am n hsten*), а я и мог немецкую подкрепить русскою: безденежье всегда бывает перед деньгами.

В утешение всем соболезнающим обо мне по этому поводу читательницам скажу, что описанный мною сейчас период голодания пришлось мне испытать один раз в жизни, т. е. до того дня, в который пишу эти строки и, думаю, что и за сим днем не повторится, потому что хотя я „стар и глуп“, но все же умнее, чем был в 1868 году.

Наконец получилось письмо из Петербурга с 25-ю рублями, письмо полное упреков: сам де виноват, дескать, что сидишь без денег, но виноват не потому, что отдал свои деньги, а потому, что попал в ссылку.—Тут же подошли уроки у Каскевич с двумя мальчиками, а немного попозже в их же семье стала моей ученицей Вера Михайловна Смекалова.

Вера Михайловна должна быть охарактеризована, так как ей пришлось играть в моей жизни довольно заметную роль. Это была маленькая лампочка, светившая мне неизменно в продолжение многих последующих лет и не угасавшая ни при каких порывах ветра на бурном житейском море. Она мелькает и теперь где то там в темном углу Вологды и кто нибудь еще наверное пользуется этим кротким, но уже угасающим светом.

Но сперва два слова о наружности.

Это была девушка небольшого роста, весьма некрасивая собой, худощавая, нельзя сказать со вздернутым (как выражаются, описывая бойких француженок), а завороченным кверху носом, постоянно открытым ртом и скверными зубами, отличавшимися тою особенностью, что верхний их ряд не сходиллся с нижним, и будучи сжаты, они представляли отверстие величиною в большой орех; вследствие этого Вера Михайловна говорила не чисто, даже немо, так что с первого раза было трудно ее и понимать. Волосы она носила стриженные, но так как эти волосы были жестки, как грива, то и торчали во все стороны безобразными космами, голова не круглая, а какая-то угловатая и сжатая с боков, цвет лица смуглый, волосы и глаза черные.

Но обидев бедную девушку, да так жестоко во всем описанном, природа наградила ее глазами. Это были большие темнокарие глаза, в которых как в зеркале отражалась прекрасная душа Веры Михайловны. По истине, доброта души Веры Михайловны не имела пределов: она доходила до глупости, до сумашествия, но нельзя было перед этой добротой не преклоняться. Всю жизнь свою эта душа жила для других, всю жизнь страдала бесконечно, обманывалась сотни раз, но никогда не раскаивалась, не разочаровывалась, а все прощала и оправдывала.

Вера Михайловна от рождения была очень болезненна; сестры ее учились, она не могла. Уже будучи взрослой, она самоучкой выучилась читать и писать. С годами здоровье ее окрепло, но все-таки она беспрестанно хворала. Живя в доме сестры своей Каскевич, она заве-

*) Если необходимость тяжелейшее, то Бог—ближайшее. Р е д.

дывала хозяйством и нянчилась с детьми; натура подвижная и деятельная, она трудилась неустанно с утра и до ночи и везде поспевала, везде была нужна и без нее никто не мог обходиться. Немногие свободные часы она посвящала чтению, это был ее отдых. Еще задолго до моего приезда в Вологду, она вздумала выучиться как следует грамматике и арифметике. Некий Авессаломов, бывший репетитором ее племянников, занимался и с нею; я сменил Авессаломова. Вместе с тем она решила изучить какое-нибудь ремесло и выбрала переплетное, рассчитывая на то, что в случае она вздумает жить отдельно от сестры, это ремесло даст ей кусок хлеба. С год времени она ходила к лучшему вологодскому переплетчику и брала у него уроки; это было уже после отъезда моего из Вологды в Тотму.

Вот какова была одна из немногих порядочных женщин, которых я знал в жизни.

У сестер Смекаловых был брат Алексей Михайлович, служивший тогда на Кавказе, позже Терский и Батумский губернатор. Я имел случай познакомиться с ним впоследствии и должен сказать, что он стоил той любви, которую питали к нему сестры: он был человек крайне добрый и заботливый о своей родне: значительную часть своего жалованья он уделял сестрам. Вера Михайловна аккуратно получала от него назначенные ей 15 руб. в месяц; на эти деньги она одевалась, из этих же денег уделяла часть Дубровским и платила за уроки.

Сестра ее Надежда Михайловна отличалась характером почти противоположным. Эта женщина не знала никаких нравственных правил, надувала и обирала своих сестер и с Верой Михайловной обращалась крайне худо и бестактно. Бунакова была с нею из-за этого в вечной ссоре; Софья тоже не могла ужиться, уехала в Петербург, сдала там экзамен на звание домашней учительницы и, вернувшись в Вологду, поселилась вместе с Бунаковой и занялась обучением детей. Это была тоже крайне добрая, кроткая и любящая девушка.

Дом Смекаловых был старинный, двух-этажный, прежнего барского типа, дом со множеством больших, светлых, удобных комнат того типа, который мне всегда очень нравился, потому именно, что строители таких домов имели в виду удобства помещения, а не обирание постояльцев, как ныне. Зал, так зал, т. е. большая высокая комната, где могла повеселиться и поплясать толпа гостей, нарядная гостиная, кабинет хозяина в стороне, непременно с библиотечкой, отдельная спальня, детская, столовая с итальянским окном и балконом и проч. и проч.; словом, дом назначенный для жизни людей, а не станция, не харчевня.

Надежда Михайл. Каскевич занимала нижний этаж своего дома; бель-этаж отдавался квартирантам; в мезонине жили Дубровские.

Квартира Каскевич мне очень нравилась своею уютностью; на меня пахнуло настоящей жизнью, когда я вошел в эти комнаты. Все так чисто, приветливо; хозяйка такая миловидная, веселая женщина, дети такие здоровые, бойкие и красивые, про угощенье и говорить нечего. Это не был „Piss-thee“ с грошовыми сухариками по числу гостей и с разбавленным водою снятым молоком, не Wasser-suppe, не arme Rissen из завалявшейся булки, поджаренной в прогорклom сале, кофе не с собственных плантаций (в ботанике *Cichorium Intybus*), а

настоящий кофе со сливками от здоровой русской, а не тощей фараоновой коровы, словом, угощение хотя и незатейливое, но здоровое и сытное, не наводящее на воспоминание о средней и древней истории.

Некоторый контраст со всем этим на первый взгляд представляла Вера Михайловна со своей гривой и круглым ртом, но только на первый взгляд. Пробеседовав с нею полчаса, вы уже вовсе не находили такого безобразной, как вначале, через два часа вы были с нею уже вполне откровенны, а через два-три дня, войдя в дом, непременно спрашивали, а где-же Вера Михайловна, здорова-ли она.

Тут меня встретил и Н. А. Морозов, о котором я упомянул выше, назвав его сожителем Н. М. Каскевич.

Впрочем в утешение прелестных девиц и дам, скажу, что т-те Каскевич вышла впоследствии замуж за т-ъ Морозова и стала поэтому называться т-те Морозовой и тем примирилась с „богом и совестью“.

К этой семье, равно как и к Дубровским я вернусь позже, теперь же скажу, что одновременно с уроками в доме Каскевич я получил уроки в доме какой-то Чихачевой с девочкой лет 12-ти, так что в общей сложности должен был получать около 20 р. в месяц. Тогда я нанял себе квартиру против бульвара, в доме Польшер. Квартира же находилась в мезонине и состояла из двух хорошеньких комнат с мебелью. За две комнаты со столом, т. е. обедом и ужином, я платил 9 руб. в месяц.

II. Продолжение Вологодской ссылки.

Это было, как помнится, в конце августа. Я жил еще у Шевяковой, сидел в комнате, соседней с залой и читал. Вошел какой-то мужчина и заявил, что желает снять с себя карточки. Когда карточка была снята и пришедший вернулся из павильона в зал с тем, чтобы дать задаток, я слышал, как он спросил Шевякову: действительно-ли у нее в доме живет Ник. Алекс. Ивеницкий. Шевякова ответила утвердительно, тогда мужчина сказал: „постарайтесь передать ему, что я живу на Архангельской улице в доме (того-то), если он желает посетить меня; по крайней мере я слышал, что ему хотелось со мной познакомиться“.

Когда посетитель ушел, я выразил Шевяковой мое изумление по поводу его слов и спросил фамилию незнакомца.

— Лавров, сказала она; я о нем слышала, он сюда сослан из Петербурга под надзор полиции.

— Я так не слыхал и, конечно, никогда не выражал желания с ним познакомиться.

После того прошло недели две, я переехал в дом Польшер и, как то вечером, сидя дома вспомнил о Лаврове и подумал: не сходиться-ли к нему? Интересно посмотреть, что за Лавров.

Отправился за реку. На Архангельской улице мне указали названный дом, я поднялся наверх и позвонил. Отворила девушка и на мой вопрос: дома-ли г-н Лавров, ответила: пожалуйста. Скинув пальто, я вошел в зал, куда из соседней комнаты навстречу мне вышел высо-

кого роста полный, видный мужчина лет под 50, с длинными русыми волосами, с такими же усами и бородой, в очках, одетый в широкий колюмянковый пиджак.

Я назвал свою фамилию. Хозяин приветливо подал мне руку и пригласил в кабинет, находившийся рядом с залой. Здесь среди комнаты против окна стоял письменный стол с грудami бумаг и книг. Часть комнаты была отгорожена высоким и широким, вернее—длинным шкафом, сверху до низу набитым книгами; книги лежали и на стульях и на полу и на этажерках.

Лавров (его звали Петр Лаврович), пригласил меня сесть в кресло, сам сел на свое место за письменный стол и между нами началась беседа, обычная между двумя сосланными; говорил больше хозяин, говорил живо, горячо, в то же время внимательно всматриваясь в меня своими блестящими серыми глазами. Я, впрочем, не смущался этими пронизывающими взглядами и сказал откровенно, что был изумлен, услышав о выраженном мною будто бы желании познакомиться с ним, Лавровым, тогда как на деле я этого не говорил, так как его, Лаврова, не знал и даже никогда о нем не слыхивал.

Лавров усмехнулся, опустил глаза и задумался.

Я опять изумился. Отчего он усмехнулся и почему задумался?

Лишь через несколько месяцев, будучи уже в Тотьме, понял я наивность моего замечания и причину усмешки Лаврова. Он был ученый, известный не только всей интеллигентной России, но и за границей. Он был выслан из Петербурга именно за то, что стал слишком известен, слишком уважаем и вдруг человек, повидимому принадлежащий к этой слишком знавшей и уважавшей Лаврова интеллигенции говорит: я никогда о вас не слыхивал.

За все 10 лет моего пребывания в Петербурге я слышал фамилию Лаврова один раз: в гимназии говорили, что Россия будет республикой, а президентом ее Лавров. К счастью или к несчастью этого не случилось и, кроме звука—Лавров, до сей минуты в уме моем ничего не было.

— Мне сказал это в Тотьме Гедговд, продолжал Лавров.

Услышав фамилию Гедговда, я вдруг вспомнил мой разговор с ним в остроге и тоже усмехнулся.

— Я говорил о Шелгунове, а не о вас, значит Гедговд перепутал фамилию.

— Я думаю, это не беда, возразил Лавров улыбаясь, этой путанице мы обязаны нашим знакомством.

Рассказывая о своей жизни в Тотьме, Лавров, в заключение сообщил следующее: когда пришел указ о переводе его, Лаврова, из Тотьмы в Вологду, многие из его тотемских знакомых вздумали проводить его до первой станции. Собралось человек восемнадцать. Тут были и политические сосланные и местный лесничий Проневский и учителя уездного училища. На Коровинской станции все вышли, выпили шампанского, покачали Лаврова на руках, простились с ним, прокричали виват в честь Разума и вернулись в город, а Лавров отправился далее. Тотемский исправник Алексеев, известный клезузык и доносчик, немедленно сообщил об этих проводах в Вологду, выста-

вив их как политическую демонстрацию, из Вологды сообщили в Петербург, откуда и последовал приказ произвести строжайшее следствие.

В Тотьму прикатила целая комиссия и производила дознание ровно месяц. Тотьма и ее окрестности повергнуты были в неменьшее волнение, чем во время пребывания здесь Ивана Грозного, когда тот *ad majorem regis gloriam* *) вешал тотьяков на Царевом лугу. Не говоря уже о самих демонстраторах, десятки посторонних людей привлекались в комиссию к допросу: тут были и кухарки, стряпавшие „подорожники“ и мальчишки, собиравшиеся посмотреть на кортеж и ямщики и содержатели станций, даже старуху, полоскавшую белье на речке „Песьей Деньге“ во время проезда бунтовщиков спросили: не видала ли она чего особенного. Старуха ответила, что видала, как по мосту проехало несколько тарантасов и из одного выбросили в речку бутылку; она эту бутылку поймала и понюхала: из бутылки пахло водкой. Она взяла эту бутылку себе и держит в ней тертый хрен; хрен этот ела, но вреда от него не видала, так же она не думает, чтобы бутылка была заколдована, а впрочем она готова бутылку возвратить. Один из почтенных тотемских граждан заплатил даже жизнью из-за этой „истории“, именно—смотритель училища Левицкий. Это был старик, боявшийся крайне всяких новых веяний, а особенно политических ссыльных. Следственная комиссия пригласила его в заседание и сделала ему легкий выговор за то, что он дурно смотрел за своими подчиненными: двое из учителей уездного училища, как я сказал выше, участвовали в проводах. Старик вернулся домой совершенно убитый, успел только сказать, что прожил столько лет, служил беспорочно, а под конец замешан в *политическое* дело, как его хватил паралич и он вскоре умер. Дело кончилось тем, что все участвовавшие в проводах получили выговор и оставлены в подозрении.

Теперь Лавров получил сведения, будто его хотят перевести в один из отдаленных уездных городов—Устьсысольск или Яренск. Возможность такого перевода его крайне беспокоит—не за себя, а за свою старушку мать, которая живет с ним.

Я просидел у Лаврова часа два. При прощаньи он высказал, что вообще очень занят научными работами, но по вторникам у него собираются кое-кто из знакомых и он просит меня прийти к нему во вторник вечером.

Я, разумеется, пришел. Тут уже были знакомый мне несколько Н. В. Кедровский с женой и Сажин. Кедровский—господин небольшого роста, еще молодой, рябой и некрасивый собою. Мне указывали на него ранее, как на прекрасного, честного человека из „передовых“. Конечно, я не имел ничего возразить против этого, но меня удивляло то, что патентованный либерал служит в учреждении, вовсе не либеральном—канцелярии губернатора.

Жена Кедровского смотрела совершенной девочкой; особенно молодили ее стриженные волосы, она училась в Петербурге и теперь была акушеркой. Сажин, молодой человек, бывший студент Технологического Института, высланный в Вологду под личный надзор жандармского полковника, вскоре, несомненно при содействии Шелгунова и Кедровского, бежал в Америку.

*) К внящей славе царя, во славу царя. Р е д.

Лавров отличался в отношении своих гостей крайнюю любезностью, граничащую с приторностью: старался занять нас беседой, показывал нам великолепные фотографии с известных картин; мать его, худенькая, седая старушка, разливала чай в соседней комнате. Вслед за мной вскоре пришел Шелгунов, а позже часов в 10—П. В. Тишин, правитель канцелярии губернатора. Вначале я думал, что он пришел к Лаврову по делу и что, сказав, что нужно, удалится. Но Лавров встретил его как хорошего знакомого. Тишин уселся на диван и вступил в беседу с хозяином и с Шелгуновым, тоже, как видно, хорошо ему знакомым и не стеснявшимся его нимало.

Меня это обстоятельство удивило до крайности. Мне говорили о Тишине, как о завзятом бюрократе, относящемся к сосланным враждебно и даже приводили случаи, когда Тишин явно „гадил“ сосланным, что было для него вполне возможно по его должности и по влиянию на губернатора. И вдруг—в гостях у Лаврова! Они, т. е. Тишин, Шелгунов и Лавров принялись разбирать законодательные вопросы, причем Шелгунов, защищая свои положения, ужасно горячился, Тишин же и Лавров были очень сдержанны. Кедровский только слушал, а мы с Сажиным, познакомившись в этот вечер впервые, беседовали о Петербурге. Сажин знал хорошо Грудзинского и Березовского. Когда перешли из залы в кабинет, Тишин спросил Лаврова: что он теперь пишет.—Лавров хотел отделаться общими фразами, но Тишин пристал, что называется, и Лавров должен был ответить определенно,—я пишу историю мысли, сказал он *).

В Вологде в это же лето узнал я о смерти Писарева. По этому поводу было много толков среди партии „передовых“. Все были согласны в том, что смерть его *не* была естественною, что его спровадили насильно на тот свет, как спровадили не мало других „опасных личностей“. Это вполне возможно, но не думаю, чтобы было так относительно Писарева.

III. Продолжение Вологодской ссылки.—Отъезд.

Учениками своими я был доволен, квартирой тоже, жизнь моя вошла в определенную колею, я стал успокаиваться и отдыхать душе после десяти лет можно сказать безудержного волнения.

И если где я вполне отдыхал душою, то это у Дубровских, с моим учеником Сашей, матерью и его братом Петром. Противовесом некоторой сумрачности Саши являлся веселый и насмешливый характер брата его Петра. Саша, как я уже сказал, занимался недурно и я надеялся, что к началу зимы, он будет готов к сдаче экзамена и поступлению в телеграф, как он непременно этого желал. В вечерние часы он садился обыкновенно на ветхий диванчик, стоявший против окна, брал гитару и начинал что-нибудь наигрывать. Это были какие-то неопределенные, но всегда довольно грустные мелодии. Оба брата

*) Впоследствии, как известно, вышел в свет первый выпуск сочинения Лаврова под названием „Опыт истории мысли“ без имени автора (он был тогда уже за границей, окончательно под опалой, как беглец) и, сколько я знаю, этим выпуском дело и ограничилось. *Примеч. авт.*

бывали часто и у меня на квартире; Саша не любил много разговаривать, придет, поздоровается, сядет к окну, перекинется двумя—тремя фразами, выпьет стакан чаю и уйдет. Но он приходил часто, очевидно, ему доставляло удовольствие посидеть со мной хотя бы и не заводя никаких разговоров.

Вера Михайловна выбивалась из сил, стараясь усвоить себе элементарные правила арифметики и грамматики. Но способности этой девушки были до того ограничены, что успехи ее подвигались черепашьим шагом. Она сама это отлично сознавала, но не теряла надежды на то, что со временем все-таки усвоит что-нибудь и вся сияла неподдельным восторгом, если с моей стороны являлась возможность похвалить ее за удачно решенную задачу.

Так время прошло до октября. Я и не подозревал, что надо мной собирается гроза, если это выражение не слишком сильно, т. е. что мой перевод в Тотьму уже решен в тех сферах, от которых зависело место моего пребывания.

Как потом выяснилось, высшее вологодское начальство было довольно мною. А именно, полициймейстер, выхлопотавший разрешение губернатора оставить меня в Вологде, недоволен тем, что я не пришел поблагодарить его, губернатор недоволен тем же, жандармский полковник тем, что я не представился ему для выслушания инструкций о том, как мне следует вести себя, если я желаю со временем заслужить „прощение“.—Что я хожу на уроки и бываю у Лаврова, это конечно не могло укрыться ни от кого из названных лиц; жандармы ревностно следили за всеми политическими поднадзорными. Положим, губернатор и полициймейстер относились равнодушно к тому, где я бываю и что я делаю; относительно меня их могло беспокоить одно опасение—чтобы я *не убежал*, все остальное не подвергало их службу опасности, но жандармский полковник глядел не так. Запретить мне бывать у Лаврова он, разумеется, не мог, но запретить давать уроки он был обязан и фон-Мерклинг это сделал. Он написал, что следовало в министерство и ответом была телеграмма: „отправить его немедленно в Тотьму“.

Я не представлялся ни губернатору, ни полициймейстеру, ни полковнику вовсе не вследствие каких-нибудь соображений, не по принципу, а просто потому, что это не приходило мне в голову, а не приходило в голову вероятно потому, что я вовсе не считал себя обязанным этим лицам. Я ехал в Тотьму, но был оставлен в Вологде. Разницы между Вологдой—Тотьмой для меня не было никакой, потому что я не знал ни того, ни другого города и, как здесь, так и там, должен был находиться под одинаковым надзором. За что же было благодарить? Но, проживши 4 месяца, я должен был глядеть на дело иначе. Я устроился, так сказать, в Вологде, обжился, у меня было *дело*, на которое я тогда смотрел очень серьезно, и вдруг все это должно разрушиться, я должен отправиться из известного места в совершенно неизвестное, опять устраиваться, обживаться, добывать себе работу. Но я и не подозревал, что это может случиться. Я копошился в крошечном уголке Вологды и дни за днями шли так тихо и мирно, что я совсем забыл, что за мной существует надзор, что следят за каждым моим шагом, где каждый день, садясь заниматься со своими учениками, я совершаю на глазах жандармерии явное преступление. Намекни

мне кто-нибудь о том, что надо сходить и представиться, попросить не трогать меня, я бы это сделал, хотя и считал это унижением. Ради пользы моих друзей—Саши и Веры Мих. и других учеников—я бы решился на это унижение не задумываясь. Погладить собаку, чтобы она вас не укусила, это не значит уронить свое достоинство; для успеха хорошего, серьезного дела нельзя не приносить жертв.

Но я говорю, что ничего не подозревал, а почтенные маски вроде Кедровского, меня не предупредили, как они предупреждали других, по той же причине, по которой не предупредили губернатор или полициймейстер: я не был у Кедровского с визитом, встречаясь с ним у Лаврова, не расшаркивался, не высказывал удивления его политике, напротив, давал понять, что мне кажется „несколько странным“ поклясться правительству быть верным его слугой и исполнять в точности его предначертания, брать за исполнение этих предначертаний деньги, т. е. жалованье и продавать и распинать и проклинать это правительство на каждом стуле и диване.

Итак, 5 октября утром ко мне явился жандарм и объявил, что полковник требует меня к себе. Я пошел. Полковник фон-Мерклинг представлял идеал жандарма времен процветания знаменитого III Отделения. Вся его наружность и манеры говорили об этом. Человек этот обладал отличным состоянием, у него была богатая усадьба на родине, в одной из остзейских губерний, и он все-таки служил вдали от этой родины, занимая должность, которая не только унижала его в глазах общества, но и зачастую подвергала опасности. И он служил не виляя, не труся, не отступая ни перед чем, держал себя гордо и независимо и, хотя служил подлому делу—преследования людей за их мнения, но за свою стойкость заслуживал уважения. Во всяком случае он в нравственном отношении стоял несравненно выше всяких Кедровских, Тишиных и Хоминских.

Сделав мне кое-какие вопросы относительно образа моей жизни, и уроков, он заявил мне о получении им телеграммы и о том, что я должен исполнить предписание министра. Тем моя аудиенция и кончилась.

Когда я пришел к Каскевич, и сообщил им новость, они были поражены.

— Ах, какое горе, воскликнула Надежда Михайловна, а я было совсем успокоилась за своих детей, я так была рада, они вас так полюбили.

— Да это быть не может! закричал Морозов, бегая по комнате. Я сейчас поеду к губернатору... и за что же отправлять в Тотьму? Разве вы совершили какой-нибудь проступок?.. Я сейчас напишу... он так вам и сказал: должны немедленно ехать?

— Так и сказал.

— Ну, а вы что же на это?

— Ровно ничего.

— Как ровно ничего?

— Да что это. Николай Александрович!.. Что же я скажу? Ведь не сказать же: нет, я не желаю.

— Конечно, сказать: нет, я не желаю! по крайней мере спросить... позвольте узнать, за что же?

— Он спросил меня: даю ли я уроки? Я сказал: даю. Он спросил: а вы разве не знаете, что это запрещено?—Я сказал: знаю, но чем мне жить? Ведь пособие вы мне должны давать, да не даете.

— Это не от меня зависит, ответил он, вот и все.

— Это чорт знает, что такое... Я сейчас поеду к губернатору, я напишу министру...

Разумеется, он никому не написал и никуда не поехал, а только пересел лишний раз с дивана на кресла и погрыз ногти.

Затем я поднялся в мезонин к Дубровским. Дубровская возилась в кухне (по вологодски *обряжалась*); Саша сидел за столом и что-то писал.

Я подсел к нему и сказал:

— Саша, прощайте, я уезжаю.

— Далеко-ли? спросил он улыбаясь и продолжая писать.

— В Тотьму.

— Куда?

— В Тотьму, я говорю. Точно вы не знаете Тотьмы! Сейчас мне объявили, что я должен уехать.

— В Тотьму? Это двести верст отсюда. Зачем же вас туда посылают?

Он смотрел на меня пристально несколько секунд, потом стал смотреть на свои руки, потом встал и подошел к окну.

Я тоже встал и сказал: ну, я пойду.

Он ничего не ответил. Я вышел, и направился домой. Дома ждал меня полицейский, который передал приглашение полицимейстера явиться в Управление. Там меня спросили, могу ли я отправиться в Тотьму на свой счет? Если могу, то должен внести 17 руб. за прогоны и отправиться в сопровождении полицейского. Я ответил: могу.

— Когда же вы *думаете* ехать? спросил меня какой-то полицейский чин.

— Если вы представляете это на мою волю, то я скажу: завтра.

— Хорошо-с; завтра после обеда вам будут поданы лошади.

Из полиции я пошел к Шевяковой. Она верить не хотела сообщенному мною известию и сказала: еду к губернатору. И поехала бы, но я упрямил ее остаться, доказав бесполезность всяких просьб.

Тогда она заплакала.

— Коля, я тебя очень люблю, сказала она. Я понимаю, какая это мерзость гонять людей из города в город по капризу, и я тебе даю слово, что стану хлопотать всеми силами, чтобы тебя поскорее возвратили в Вологду. Я к тебе привыкла, Коля. Я от тебя не имею секретов, ты верный человек.

Мы поцеловались сердечно.

— Я попрошу вас, Александра Павловна, сделайте, мне последнее одолжение.

— Что, денег тебе нужно?

— Нет, у меня есть 20 руб., а я попрошу вас: снимите с меня завтра карточку вместе с Сашей Дубровским.

— Об этом нечего говорить, а ты возьми у меня лучше 10 руб., я также их промотаю на глупости, а тебе очень пригодятся. А летом, я непременно приеду в Тотьму с фотографией.

Мы еще долго беседовали и когда стемнело, я пошел домой.

Саша ждал меня у ворот, сидя на перекладине палисадника. Он молча прошел за мной наверх, и сел к окну. Я принялся укладывать свой небольшой скарб. Саша помогал мне, причем мы почти не ска-зали друг с другом ни слова.

Когда часы в соборе пробили девять, Саша сказал:

— Я, Николай Александрович, домой не пойду, я останусь у вас.

— Оставайтесь, голубчик, ложитесь на мою постель.

В десять часов он разделся, лег на мою постель лицом к стене и скоро заснул.

Я сидел за полночь, написал несколько писем, извещая мать, Павлова и С—ва об отъезде в Тотьму. занес в дневник все происшед-шее за этот день и так как спать не хотелось, стал ходить взад и вперед по комнате. Саша стонал во сне, вдруг поднялся и огляделся кругом диким взглядом. Я подошел к нему и приласкал его.

— Не пугайтесь, Саша, вы у меня. Ложитесь, спите с Богом.

— Да, сказал он, положил голову на подушку, взял меня за руку и так заснул опять.

Я сидел долго подле него не шевелясь, боясь его разбудить.

Стало светать. Я сел к столу и писал до тех пор, пока свеча совсем не побледнела в лучах утра.

И утром разлука тихонько к окну подошла.

— Вставай, собирайся, заря уж на небе взошла!

И вправду, над городом сонным, от краткого сна,

В величии грозном, безмолвном вставала она,

Раскинула по небу красные руки свои

И смотрит бесстрастно в тоскливые очи мои.

В 7 час. принесли самовар, Саша вскочил.

— Ай, ай, ай, уж светло! воскликнул он.

Куда же вам торопиться?

— Да, некуда, в самом деле. Теперь мне уж *не для кого* делать задачи.

Я невольно засмеялся.

— А разве вы для меня их делали?

Он встал, оделся и мы стали пить чай.

В 10 час. мы пошли с ним в фотографию и Петр снял нас кар-точку. Я сидел на стуле, а Саша стоял рядом, опершись рукою на спинку моего стула. Эта карточка каким то образом миновала участи многих других дорогих мне карточек и рисунков и уцелела.

Затем я простился с Шевяковой, с Каскевич, Морозовым и Ве-рой Михайловной и отправился к Лаврову.

Лавров был дома и сидел за работой. Он только пожал плечами, услышав новость и сказал:

— В Тотьме вам, впрочем, будет не худо. Там есть несколько порядочных личностей из общества, не говоря уже о сосланных. Я напишу два письма, которые и передайте по принадлежности. Как приедете, прежде всего отыщите Николая Александровича Гернета, он вас познакомит с прочими. Познакомьтесь с Линевым, это серьез-ный, деятельный человек, познакомьтесь с Чаплицкой; это сосланная полька, очень умная и образованная женщина. Она сама себе кухарка, но в ссылке всего придется испытать. Я бы должен был дать вам де-нег, но у меня теперь, кроме мелочи, ничего нет. Вот возьмите

пять рублей, хоть и малость, но и та пригодится. Пишите мне при всяком удобном случае; такие случаи будут изредка представляться. По временам пишите через полицию для отвода глаз, просите у меня книг, я буду вам посылать.

Лавров быстро написал два письма, запечатал их в один конверт и вручил мне. Я простился с ним и вернулся домой.

Дома, кроме Саши и Петра Дубровских, меня ждал пристав Попов. — Не унывайте, Ник. Алекс., сказал он, повторяя слова Максеева, и в Тотье люди живут. Помните песенку: „Буди барабаном уснувших, тревогу без усталости бей, вперед и вперед подвигайся, в том тайна премудрости всей“. Вздумаете, так пишите. А полицию не ругайте очень: полиция ни в чем не виновата.

Мы расцеловались с ним и он ушел.

В два часа на двор въехал тарантас, запряженный парой. В тарантасе сидел полицейский, которому поручено было доставить и сдать меня в Тотью; за тарантасом ехал верхом частный пристав Ушаков.

Ушаков вошел ко мне, рекомендовался и прибавил улыбаясь: я послан проводить вас до заставы.

Саша встал бледный, засовался как-то, хватаясь за разные вещи, взял в одну руку сак-вояж, в другую подушку, потом бросил все это подошел ко мне и обнял, заливаясь слезами.

— Ну вот, точно бабы разревелись, сказал Петр, а сам плакал.

— Полноте, сказал Саше Ушаков, тронутый этой сценой, не на век провожаете Николая Александровича.

Я вышел, уселся в тарантас рядом с полицейским и мы выехали. Ушаков скакал сзади. Я оглянулся: Саша и Петр стояли у ворот; Петр махал мне фуражкой.

Когда выехали за заставу на Архангельском тракте, ямщик остановил лошадей, чтобы отвязать колокольчик.

Ушаков простился со мной и вернулся в город. Мы поехали далее по направлению к Прилукам. В версте от города по левой стороне дороги я заметил мужчину и даму, они медленно шли по тропинке. Лицо дамы было завешено вуалью. Это были Федор Дубровский и В. М. Смекалова. Когда я поровнялся с ними, она стала махать мне платком, а он фуражкой. Ямщик наш, заметив это, хотел остановиться, но я сказал: не надо и мы поехали далее.

Осень в тот год стояла чрезвычайно сухая, дорога была очень хороша. В 8 час. вечера мы приехали в Кадников и вышли на станции с тем, чтобы выпить чаю и закусить. Я не ел весь день и теперь только почувствовал это. Смотритель станции, мужик лет под 50, поставил на стол разных кушаний и когда мы с полицейским напились и наелись, я спросил смотрителя: сколько ему следует за самовар и за ужин. К удивлению моему, этот человек сказал, что не возьмет ничего, и не взял, несмотря на все мои настояния.

— Везут вас поневоле, а еще за ужин брать, пробормотал он и вышел из комнаты.

Мы ехали всю ночь напролет в непроглядной тьме, останавливаясь лишь для перепряжки, затем еще день и ночь и 8 октября часов около шести утра прибыли в Тотью.

IV. Тотьма.

Со внутренним убранством тотемского острога мне не пришлось познакомиться ни по прибытии моем в Тотьму, ни впоследствии, потому я ничего не могу сообщить на этот счет любознательному читателю. Когда мы въехали в город и полицейский спросил меня: где я желаю остановиться, я сказал: в гостиннице. Но так как настоящей гостинницы тогда в городе еще не было, то меня и привезли к постоялому двору, где я нашел довольно чистую и приличную комнату.

Вот она, Тотьма, город, о котором я много слышал, и в который заглядывал в детстве один раз, если читатель припомнит. Так как мне придется продержать читателя в Тотьме довольно долго и так как слово Тотьма такое же многозначущее в моей жизни слово, как для какого нибудь студента слова: Харьков, Петербург, Берлин, Гейдельберг, то я считаю нужным, прежде чем говорить о жизни и деятельности моей в Тотьме, дать читателю маленькое описание наружности самого города и его окрестностей.

Хотя всякому едущему, как поневоле, так и... я чуть было не сказал *добровольно*... [добровольно в Тотьму, со времени ее основания (что случилось в глубокой древности) ездил и теперь поехал бы *один я*, говорю это не задумавшись ни на минуту..] и так, хотя всякому едущему в Тотьму знакомые говорят: то-тьма́, иные даже приводят в подкрепление своей характеристики легенду, что какой-то удельный князь, придя на берег Сухоны, противоположный теперешнему городскому, сказал, указывая на дремучие леса другого берега: то—тьма, и когда на этом месте возник город, то его и называли Тотьма, что однако не более, как праздный вымысел—Тотьма, как и масса других названий поселений и рек в губернии—название зырянское. Отзывающиеся же таким образом о Тотьме, сами не знают, что говорят. Город расположен на левом, высоком, изрытом ручьями, берегу Сухоны; у западной окраины города речка Песья деньги образовала широкую и глубокую долину, в весеннее время всю заливаемую водою; долина эта отделяет город от слободы, называемой Зелень, вытянувшейся на версту по берегу Сухоны. Вологодский почтовый тракт спускается в эту долину и снова подымается в гору, причем вправо от тракта вы замечаете небольшую горку, называемую Лукихой. Часть города, тянущаяся от этой горки по левому берегу Песьей-денги зовется Подлукихой. На мысу, образуемом слиянием Песьей-денги и Ковды, в одной версте от города расположен известный монастырь Феодосия Тотемского со своей громадной колокольней. В двух верстах к северу от города, по течению упомянутой Ковды, находится тоже довольно известный Тотемский солеваренный завод.

Тотьма раскинулась широко, причем между кварталами образуются большие площади, вернее луга. Луга эти образовались вследствие пожаров, не раз опустошавших Тотьму. В городе около 12 церквей, из которых самая замечательная—собор со своим 700 пудовым колоколом и часами, выбивающими даже минуты. Из церквей особенно старых нет (шатровой колокольни ни одной), но есть довольно красивые по своей архитектуре и внутреннему убранству, напр. церковь Иоанна Предтечи. Каменных домов около десятка, остальные деревянные, из деревянных опять немного больших и хороших, а боль-

ше обычные серенькие домики в три окошка. Иногда целая улица представляет ряд жалких лачужек, раскланивающихся друг с другом, а то и просто прислонившихся друг к другу плечами, так что разбери одну—другая непременно упадет. Нередко можно видеть двух-этажный дом, нижняя половина которого буквально ушла в землю до половины окошек; наконец попадаются здания и в восточном вкусе, с плоскими крышами; лесу на крышу не хватило, ну и положили тесинки, да так навсегда и оставили.

Меня всегда поражал страшный контраст между этими несчастными хатами, в которых люди конечно уж не живут, а бедствуют и великолепными церквями, колокольни которых видны иногда за десятки верст. Разумеется, храмы эти воздвигнуты не теми несчастными, которые жмутся и голодают в своих хатах и не их предками, а купечеством, но все-таки на деньги, собранные по грошам с этих самых обитателей хат. Если бы разобрать все 12 тотемских храмов, из этого кирпича вышло бы здание, в котором все 600 тотемских семейств могли бы иметь по превосходной квартире, то во всей Тотьме не нашлось бы не только целой семьи, но и одного человека, который согласился бы перебраться из своей хатки, хотя бы и поросшей лебедой и ушедшей на половину в землю в этот *общий* каменный дом. Что касается меня лично, я лучше согласился бы жить на любой сосне, в лесу, чем в самом великолепном фаланстере.

Частных садов в городе немного; общественного нет, да общественный сад и не нужен по двум причинам: во первых потому, что вокруг города прекрасные леса и рощи; во вторых, опыт показывает, что всякий общественный сад становится немедленно притоном пьянства и разврата; он может стать действительно местом гулянья и отдыха порядочных людей лишь при том условии, если в него не будут допускаться женщины.

За рекой, почти насупротив собора, среди сосновых рощ старинная кладбищенская церковь. На этом месте существовал некогда монастырь, место заточения Евдокии Федоровны Лопухиной. Семь верст выше города на Сухоне три острова, из которых один, Дедов, с сосновой рощей и старой церковью—когда-то тоже монастырь. Семь верст ниже города впадает в Сухону с правой стороны речка Леденга, текущая от Леденгского солеваренного завода (35 верст от Тотьмы). Местность при устье этой речки—чудесный уголок, который можно рекомендовать всякому любителю природы.

С вологодской дороги, версты за 4 от Тотьмы, открывается превосходный вид на город. Конечно вид этот не то, что вид на Устюг с Гледенгской горы или с Лальского тракта, но для меня лично он один из прекраснейших на севере.

Монастырь Феодосия Тотемского, о котором я упомянул выше, расположен в красивой местности; он окружен стенами с башнями по углам, с колокольни открывается обширный вид. Монастырский собор отличается богатством внутренней отделки; здесь лежат мощи глубоко почитаемого на всем севере бывшего рабочим на солеваренном заводе Феодосия Сумарина.

Главная краса Тотьмы, бесспорно—Сухона. Эта роскошная река, всю прелесть которой оценят любители природы тогда, когда будут

сняты и срисованы лучшие ее места, начиная от Дедова острова, напр., и преподнесены этим любителям*). Жаль только, что Тотемский beau monde поганит это место, наезжая сюда по временам с самоварами, закусками и карточными столами, причем окрестные холмы и рощи оглашаются криком, бранью и пошлыми песнями. Под Тотьмой Сухона такой именно ширины, какая нужна для красоты ландшафта, ни широка, ни узка—около 150 саж. Дно ее каменисто-песчаное и вода чиста и прозрачна, как кристалл.

V. Тотемские ссыльные.

В 9 часов утра, я, в сопровождении ехавшего со мной полицейского, отправился к исправнику и был им принят с приторною любезностью. Ефрем Иванович Алексеев происхождение свое вел от одного из 12 колен израилевых и отличался самою отталкивающим наружностью. Огромная, совершенно лысая голова, с орлиным носом и большими черными глазами, вертелась, как тыква на стебельке, на тонкой шее; под носом красовался какой-то черный кустарник, тогда как цвет лица представлял переходы от желтого к зеленому, при этом все ухватки кошки, а голос слабонервной женщины, угнавшей в могилу своими нервами трех мужей. Отчаянный сплетник и доносчик, этот человек пользовался общею ненавистью и презрением, не только порядочных, но и самых презренных людей. Как все выходящие из ряду вон люди, Алексеев был не на своем месте; синий мундир педагога шел бы к нему гораздо более, чем зеленый мундир полицейского. Начни свою службу в Министерстве Народного Просвещения, он был бесподобен: точный исполнитель правительственных предначертаний, точивший нож на все живое, проявлявшее поползновения к своим суждениям.

Как я и ожидал, он не заводил речи об опасности дружбы с сосланными, не предупреждал относительно уроков и поездок за город, надеясь доставить себе наслаждение поймать меня во всем этом врасплох, а ограничился общими фразами и, в заключение, просил быть с ним знакомым.

Последнее меня взбесило.

— Благодарю за честь, сказал я. Вы меня не предупреждаете ни на счет знакомств, ни на счет занятий и прогулок и я знаю почему. А я считаю нужным предупредить вас, что если мне представятся уроки,

*) Попытки уже были сделаны. Какой-то немец (попытка, так уж непременно немец во главе) поместил в „Ниве“ два или три вида на Сухоне, впрочем с подписью: „на р. Вологде“, доказывающую, что рисунки сделаны не с натуры, а по словесному описанию, и притом исполнены омерзительно, вовсе уж не немецки. Я все свои акварельные виды Сухоны послал одному моему приятелю в Буда-Пешт и вот какими словами ответил он на мой подарок: „Ausgezeichnet interessant hat mich Ihre schöne Sammlung der Landschaftsbilder aus Ihrem Gouvernement. Reizende einsame Gegenden! Wie glücklich würde ich mich unter so guten Leuten fühlen! Ich liebe derlei von grossen Verkehre stark abgelegene, von falscher Civilisation noch nicht beluckte Gegenden...“

(„Чрезвычайно заинтересовало меня ваше прекрасное собрание сельских картинок из вашей губернии Прелестные, уединенные местечки! Как счастлив был бы я среди таких хороших людей! Я люблю подобные местности, совершенно удаленные от больших путей сообщения и еще не тронутые ложной цивилизацией...“ Перевод В. Рудневой. **Ред.**)

я возьму их, знаком я буду с тем, с кем я пожелаю, и если мне вздумается идти за город, я пойду. И если меня пошлют за это в Яренск, я и там тоже буду делать. Я вообще не умею и не желаю влиять и скрытничать, а желал бы, чтобы вы меня знали таким, каков я есть. Вы можете быть за меня также спокойны, как за любого вашего полицейского чиновника, в котором вы уверены, что он не убежит и не станет пропагандировать. Я вас уверяю, что не убегу и не стану пропагандировать, но не знакомиться с сосланными, не давать уроков и не ходить гулять за город—этого я не могу обещать.

— Г. Иваницкий, воскликнул Алексеев, протягивая мне обе руки, я вас уважаю. Вы очень во мне ошибаетесь г. Иваницкий, если думаете, что я хочу вас ловить и преследовать. Прежде чем вы приехали сюда, я уже знал вас. Я скажу вам по секрету: я имею предписание не смотреть на вас как на опасного.

Я рассмеялся.

— Немудрено, потому что я сам совершенно не знаю, зачем я сюда послан, вообще за что я сослан.

— Будьте спокойны, я не дам вам повода быть мною недовольным и вы можете и ходить, куда вы желаете и уходить гулять за город. Что касается уроков, то хотя это и запрещено вообще, я не буду наводить справок, даете вы или нет. А если меня спросят...

— Если вас спросят, то я вам сообщу, даю ли я уроки, где и кому.

— И превосходно; если бы все были такие благородно-откровенные, как вы, тогда...

— Тогда исправникам совсем нечего было бы делать?...

— Тогда с их плеч свалилась бы одна из тягчайших обязанностей, сказал он вздохнув и покачав своей тыквой. Вы думаете легко на душе, когда под вашей ответственностью находятся такие личности, как Чаплицкая, например, или как был недавно Лавров. Я ни одной ночи не сплю спокойно из-за этой польки. Я каждый день жду, что она убежит. Того же самого я опасался относительно Лаврова. Вы знакомы с Лавровым?

— Знаком.

— О, это умный человек. Это, батенька, такой ум, что... вот за таких как Гернет, я не опасаясь. У него ума не хватит и до Карепова добежать. Не буду опасаться и за вас, но уже по другой причине, прибавил он улыбаясь и трясая меня за руки.

— Ну-с, если желаете, я дам полицейского, которому велю помочь вам подыскать квартиру и перенести вещи.

— Благодарю вас, это лишнее, я попрошу об этом Гернета.

С этим мы расстались.

Как отыскать квартиру Н. А. Гернета, я узнал на постоялом дворе и от исправника прошел прямо к этой квартире. Направо от спуска в Сухону к перевозу прилепились к берегу три дрянненьких домишка. Один из этих домишек наклонился к реке и только ожидал небольшого толчка, чтобы ковырнуться в воду. В этом домишке и жил Николай Александрович Гернет, бывший студент Петровской Академии, сосланный в Тотьму „за знакомство с некоторыми из близких знакомых государственного преступника Каракозова“, человек почти и в глаза не видавший этого самого Каракозова.

Я с усилием отворил двери из сеней в прихожую, причем эта дверь едва не отдала мне ногу, так как стена наклонилась и дверь захлопывалась подобно западне. Затем, скинув пальто, я почувствовал, что меня несет какая-то невидимая сила прямо в объятия к хозяину этой оригинальной квартиры; хозяин, услышав стук западни, вышел из внутренних апартаментов, весьма любезно поддержал меня и не дал мне удариться лбом о противоположную стену.

Это был среднего роста господин, лет 27, немного сутуловатый, с выгнутыми в виде буквы *о* ногами. Узкий высокий лоб переходил постепенно в порядочную лысину, волосы русые, курчавые, небольшие усики и едва заметные бакенбарды, на горбом носу синие очки. Костюм состоял из красной кумачной рубахи и шароваров, забранных в высокие русские сапоги. В профиль этот господин сильно напоминал кохинхинского петуха.

Я рекомендовался. Хозяин крепко пожал мне руку, распорядился сейчас же насчет самовара, затем взял привезенное мною от Лаврова письмо, распечатал его и сказал: „одно мне, а другое Анне Павловне“.

Н. А. Гернет был человек неподкупной честности, человек прямой, справедливый и добрый, это не подлежит сомнению. Но что он образован был очень плохо, никогда ничего не читал и мало чем интересовался, словом принадлежал к числу деревянных людей, это также несомненно. Прочитав где-то и когда-то статейку о естественных богатствах севера, Гернет чрезвычайно любил заводить разговор на эту тему, и если собеседник обрывал его возгласом: все это ерунда, Николай Александрович вовсе не смущался, а умолкал и отходил в сторону, но при первом удобном случае затягивал опять свою песню о железе, торфе, доманике, брусняном камне, алебастре и прочих „мертвых капиталах“ Вологодской губернии. Он был немец родом, но немецкого языка не знал, не знал и французского. Политические его убеждения были весьма смутны; я никогда не мог в точности добиться, чего ему нужно: конституции или севрюжины с хреном, как говорит Щедрин. Между тем он, пускаясь иногда в разговоры о политике, употреблял таинственное местоимение „мы“. *Мы* это предвидели; когда нас забрали; *наша* игра еще не проиграна и т. п. Жил он весьма бедно, получая 6 руб. в месяц пособия от казны (эти 6 руб.,—почему именно *шесть*, и это курьезное название *пособие* я никогда не могу вспомнить, чтобы не засмеяться при этом), да добывая кое-какие гроши перепиской ролей для любительских спектаклей, он умел как-то изворачиваться так, что одет был всегда прилично и даже покупал лайковые перчатки на экстренные случаи. При тогдашней дешевизне жизни в Тотьме, пожалуй и можно было существовать на 10 руб. в месяц, я и сам так же существовал. За квартиру он платил 50 коп. (считая тут, конечно, дрова, мытье полов, мебель, самовар); на обед, ужин, чай, сахар, освещение, табак тратил 20 коп. в сутки, стало быть от 10 руб. у него оставались 3 руб., на которые он и одевался. Впрочем, по временам бывала небольшая денежная помощь от Лаврова и других состоятельных ссыльных, а иногда и от „неизвестных“ лиц.

Квартира Гернета состояла из „залы“—комнатки в два окна, выходивших на Сухону, кабинета и крошечной спальни; в кабинете письменный стол и полка с книгами. никогда, впрочем, не открывавшимися и, за неимением „траурной тафты“, задернутыми паутиной.

Напившись чаю (чай этот был прескверный и, разумеется, голый, т. е. без хлеба и молока), в продолжение которого мы вели с Гернетом беседу о нашей общей участи, Гернет предложил мне отправиться к лесничему Проневскому, которого рекомендовал как прекрасного вообще и весьма либерального, в частности, человека, друга всех сосланных. Хотя Лавров, перечисляя тотемскую интеллигенцию и не упоминал фамилии Проневского, но я не прочь был посмотреть на своего „друга“ и его семью, отличавшуюся не менее либеральным направлением, чем ее глава, по словам Гернета. Проневские жили в большом деревянном доме подле церкви Успенья, значит очень недалеко от гернетовской виллы.

Мы застали всю семью за завтраком вокруг стола посреди залы: тут был сам Петр Иванович Проневский, жена его Марья Ивановна, сын, мальчик лет 10-ти, дочь, девочка лет 5-ти и другая дочь, уже замужняя женщина, затем мужчина средних лет, черный как цыган, довольно сурового вида и с мрачным взглядом, друг дома Проневских, по фамилии Головня.

Петр Иванович завидев нас, встал, пошел навстречу и когда Гернет рекомендовал меня, горячо пожал мне руку и, после того как я поздоровался с прочими, пригласил меня садиться и выпить стакан кофе. Пошли, разумеется, вопросы: откуда, каково доехал, где остановился и проч. Когда любопытство в этом отношении было удовлетворено, хозяин перевел разговор на животрепещущую тему: вчерашний спектакль. Так как я никого из участвовавших в этом спектакле не знал, то, разумеется, только слушал, прихлебывая кофе, и приглядывался к присутствующим.

Петр Иванович Проневский, поляк родом, был человек неглупый и довольно образованный. Я не могу сказать определенно: жил ли он так широко, как жил, потому, что брал взятки, или *должен был* брать взятки, чтобы поддерживать широкую жизнь. Последнее я не хочу выставить как бы оправданием его взяточничества, а если уж надо оправдывать, то лучше сказать так: лесничий не взяточник это феномен, это *почти* невозможность, если бы я не знал одного такого чудака, то я бы стал уверять, что лесничих не-взяточников на свете не бывает.

Итак, Проневский был очень добрый и умный человек, но, как и все лесные, взяточник. Он имел два крупных недостатка: не знал счета деньгам и воображал себя литератором. Он исписал, по его собственным словам, целые горы бумаги, но, конечно, ни один из читателей моих записок не встречал фамилии Проневского ни под журнальными, ни под газетными статьями, по той причине, что Петр Иванович никогда не подписывал своей фамилии. Писал он главным образом корреспонденции, писал их о чем угодно и отовсюду, где он ни жил. В „Волог. Губ. Ведомостях“ он печатал корреспонденции из Тотьмы и Вологды о всяких более или менее важных местных происшествиях — о собраниях, спектаклях, разных торжествах и т. под.; в „Новом Времени“, издававшемся тогда Киркором, печатались его корреспонденции из тех же городов на темы, имеющие более общий интерес; кроме того он писал рассказы и очерки и даже кропал стихи, которые тоже рассылал в редакции по большей части безвозмездно.

Я упомянул еще, что он не знал счета деньгам и это в том именно смысле, что получая очень много денег, он никогда не имел их потому, что деньги тащили у него из под носу все, кто только хотел, начиная с жены и кончая казачком, чистившим сапоги.

Петр Иванович жил и умер ребенком и за беспредельную доброту нельзя не вспомнать его добрым словом. Как все люди-дети он был всегда весел, всегда доволен, все прощал и все оправдывал. Жена его, напротив, отличалась злобным, сварливым, характером. Она мучила своего мужа, как будто была „образцовым“ педагогом, а он ее воспитанником. Петр Иванович переносил эти мучения с хладнокровием, достойным лучшей участи. Когда жена завела себе любовника и любовник поселился тут же в доме и стал разыгрывать роль хозяина, Петр Иванович не протестовал.—„У Марьи Ивановны скверный характер, но что же делать? Марья Ивановна завела себе любовника, а меня отстранила и низвела на степень камердинера, обязанного только уплачивать по всем ее счетам,—ну, Бог с ней, я тоже найду себе уголок!“—И Петр Иванович, действительно, нашел уголок. Одна сердобольная девица, женщина развитая и образованная, приютила его у себя под крылышком, вероятно просто из жалости, „из сострадания к миру“ по заповеди Будды, вернее руководствуясь мотивом, высказанным в народной песенке от лица девушки: „уж я нонече сирот больно люблю, сиротинку ночевать пушу“. И Петр Иванович, 50-ти летний сиротинка, проводил половину дня у своей покровительницы, где его ждал мягкий диван, умная беседа, мир и тишина. Впоследствии в Вологде он познакомил меня с К. А. Р-ной и я провел не мало вечеров в обществе этой доброй и умной женщины.

Мы просидели с Гернетом у Проневских до сумерек, потом вернулись на его виллу, закусили немного и часов в семь отправились к Анне Павловне Чаплицкой.

Чаплицкая, полька, из Варшавы родом, была выслана в Тотьму под надзор полиции за участие в революции 1863 г. Собственно она была присуждена к лишению прав и ссылке в Сибирь на поселение. Но в Сибирь она не попала, благодаря тому, что ей удалось увидеться в Петербурге с гр. Суворовым и обворожить этого человека. По его ходатайству Сибирь была заменена Тотьмой. В Тотьме же у Чаплицкой жил родной брат Л. П. Модзалевский, служивший лесным кондуктором, у которого Анна Павловна и поселилась.

Эта необыкновенно умная, образованная и красивая женщина действительно умела обворожать. Может быть и я записался бы в число ее поклонников, не будь она только страшная кокетка. Поляки, натурально, сходили по ней с ума, а русские говорили: эх, ловкая шельма, невозможно в нее не влюбиться. Будь у нас побольше таких женщин, и мы давно отвергли „необходимость самовластия и прелести кнута“. И я бы, может быть, записался в число ее поклонников, не будь она страшная кокетка и не преувеличивай она тягости своего положения до неистовых размеров, тогда как были люди, поставленные ссылкой в положение действительно бедственное и которые между тем не только не стонали, не охали, а даже просто не жаловались. Жить у родного брата, человека состоятельного на всем готовом, имея возможность исполнять все свои прихоти, быть постоянно окруженной соотечественниками (а в числе их *двумя* ксендзами, а известно, какая

важная штука для всякой заядлой польки ксендз)—где же тут, „ужас положения“? Слова Лаврова „сама себе кухарка“ тоже надо назвать маленьким преувеличением, потому что Модзалевский держал кухарку, а Анна Павловна и не заглядывала в кухню, так как увидев таракана, она целый день лишалась аппетита. У Чаплицкой собиралось все, что только было мало-мальски интеллигентного в Тотьме. Лавров был ее почитателем и ежедневным посетителем. Впоследствии съехавшись с Чаплицкой в Париже, он, как известно, женился на ней.

Окна ее квартиры были всегда завешаны и днем. Анна Павловна не выносила лучей солнца, живя постоянно в таинственном полусвете. Анна Павловна старелась, лицо ее желтело, а солнце, как известно, страшный враг стареющихся женщин. Если бы они имели власть то, конечно, давно бы сняли с неба солнце и удовольствовались луною, этою кроткою покровительницею всех влюбленных, всех желающих обманывать, желающих быть обманутыми, желающих казаться лучше, чем они есть на самом деле.

Когда мы с Гернетом вошли в квартиру Чаплицкой, то застали здесь уже целое общество: тут был поляк Коровай с женой, ксендз Рокоцинский, известный читателю Проневский, Кенсгайло, Линева и еще несколько мужчин и женщин. Анна Павловна встретила нас в дверях гостиной, усадила меня на кресло и засыпала вопросами.

Это была женщина роста пониже среднего и средней полноты, чрезвычайно грациозная, с несколько широким лицом, несомненно набеленная и наумяненная, с глазами неопределенного цвета, но необыкновенно блестящими, выразительными и, так сказать, пронизывающими. Широкое, украшенное вышитыми оборками белое платье, сидело на ней весьма изящно; темные волосы ее были на половину покрыты черной кружевной косынкой, приколотой красными булавками. По-русски она говорила неправильно, переставляя ударения и даже коверкая слова, но говорила бойко и увлекательно. Каждое движение ее, каждое слово, каждый взгляд были размерены и рассчитаны—это сразу произвело на меня впечатление не в ее пользу и с этого вечера и до дня отъезда Чаплицкой из Тотьмы я не мог смотреть на нее и слушать ее без иронической улыбки, внутренней, конечно. Она, как проницательная женщина, повидимому, понимала это, но всегда относилась ко мне весьма доверчиво, уверяла меня неустанно в своем расположении и давала тонко понять, что я стою в ее мнении выше прочих русских, Линева, Гернета и, впоследствии, Гирса. Всегда насмешливая и весьма ехидно-насмешливая, она раз попробовала кольнуть меня, но один раз и более не пробовала. Об этом в своем месте.

Во время этой первой беседы моей с Чаплицкой мне пришла в голову мысль сразу, что называется, раскрыть карты, с тою целью чтобы у собравшихся здесь людей, кроме меня, Линева и Гернета, все поляков, не было относительно меня никаких сомнений. Именно, я рассказал в коротких словах историю моей ссылки и предоставил хозяйке самой вывести заключение: на сколько приложимы ко мне слова „политический преступник“. Не потому, чтобы я боялся или стыдился такого титула, но потому, что я не хочу носить титулов, так сказать, незаслуженных мною, я не хочу и не имею права выставить себя „мучеником за идею“ и другие не должны называть и считать меня таковым. Я просто мало развитый и мало образованный юноша, попавший случайно, в водоворот и выброшенный „on this desert land

enchanted* *). Но у меня есть желание учиться и я прошу всех умных и образованных людей, будь они русские, поляки или евреи, помочь мне учиться. Хотя я и не принадлежу собственно к кружку политических ссыльных, но я прошу его принять меня в его среду, потому что кто же, как не эти политические ссыльные, и помогут мне немного пообразоваться.

Эта моя краткая речь вызвала некоторое движение. Анна Павловна взволнованным голосом ответила мне, что в ее доме я всегда могу рассчитывать быть принятым как друг, а пан Коровай, небольшого роста господин с черной, как смоль, бородой и огненными глазами на выкате, встал, подал мне руку и сказал: будьте, пожалуйста, с нами знакомы.

Когда хозяйка вышла в столовую, чтобы разлить чай, я встал и подошел к Линеvu, сидевшему в углу у двери. Этот человек мне понравился с первого раза и я не ошибся. А. Л. Линеv был студент технологического института. Замешанный в каких-то „беспорядках“ он был выслан в Тотьму, где сперва поступил подмастерьем к упомянутому только что Коровая, отличному стальных дел мастеру, затем перешел на кокореvский солеваяренный завод, где занял должность механика. Некрасивый собой, несколько грубоватый в речах и манерах, он все же, как я сказал, сразу располагал всякого в свою пользу уже одним своим прямым взглядом и крепким рукопожатием.

Между нами начался разговор, из которого я узнал, что Линеv устроился на заводе довольно хорошо: имеет порядочную квартиру, получает жалованье и не только живет безбедно, но даже может и откладывать кое-что. Кокореvы люди хорошие; рабочие на заводе хоть и нищие, но народ не испорченный, не то что народ в столицах или других промышленных центрах.— Да вот, сами увидите, прибавил он. Я ночую в городе. Завтра днем мы приедем для вас квартиру, а вечером я вас утащу к себе.

Затем, по приглашению хозяйки, все перешли в столовую, где разговор стал общим, Анна Павловна выражала опасение, что Лаврова переведут в Устьысольск или Яренск.

— Я слышала немало об этих городах, сказала она; Тотьма ужасное место, но те, говорят, сущий ад. Если Лаврова принудят ехать туда, это будет для него чистою гибелью.

Пан Коровай подтверждает, что Яренск, где он жил некоторое время в ссылке, действительно отчаянный медвежий угол.

— Я ведь жил и в Яренске и в Устюге, обратился он ко мне, теперь вот в Тотьме. Это все мои уезды, заключил он и подмигнул одним глазом.

Анна Павловна много смеялась, узнав как я познакомился с Лавровым и стала рассказывать с жаром о том, как много она обязана этому человеку. Приехав в Тотьму, она почти не умела говорить по русски; Лавров учил ее русскому языку и познакомил с русской литературой. И теперь он постоянно высылает ей газеты и журналы. Он проводил с нею почти все вечера и обыкновенно читал вслух. Слушать это чтение собиралось иногда немало народу. Да и было чего послушать. Лавров был неподобный чтец. Его дочь приезжала в Тотьму к отцу, вместе с сестрой Линева. Дочь Лаврова**) чрезвычай-

*) „в этот очарованный пустынный край“. **) Кажется Елизавета Петровна. Она вышла замуж за некоего Негрескул, которого уморили в тюрьме.

чайню образованная, даже ученая девушка, только здоровье ее крайне слабое. Лавров вообще был душою общества и никто так не умел „занимать“ это общество, как он. Этот человек обладал редкою способностью становиться в уровень с людьми самого ограниченного образования; какой-нибудь последний писец из полиции, просидев с полчаса времени у Лаврова, уходил в восторге от необыкновенной любезности и обходительности хозяина. Познания его, Лаврова, громадны, память просто изумительная. С каким бы вопросом ни обратились вы к нему из области науки, Лавров сейчас же прочитывал вам маленькую лекцию, которая разъясняла все ваши сомнения.—Петр Лаврович, кто такой был NN? Петр Лаврович в ту-же минуту: NN был то-то; он родился в том-то или около такого-то года, написал или сделал то-то и то-то и умер тогда-то.—Петр Лаврович, что такое беллемнит? Беллемнит есть ископаемый остаток такого-то животного; эти животные населяли моря в такие-то периоды. Моря эти занимали такие-то и такие-то части земного шара. Словом, не могло явиться такого вопроса, на который Петр Лаврович не дал бы сейчас самого обстоятельного и точного ответа.

Гости слушали этот рассказ Анны Павловны довольно равнодушно, как хорошо знакомые им вещи, я же с живейшим любопытством. Гернет прервал рассказ хозяйки.

— Однако, были случаи, когда и Петр Лаврович становился в тупик и сильно ошибался в своих предположениях. Например, вскоре по его приезде в Тотьму, когда мы шли с ним по площади, он сказал: я все слушаю, отчего это на соборной колокольне нет-нет, да и брякнет небольшой колокольчик. Я полагаю, что птицы садятся на веревки, которые прикреплены к языкам колоколов и оттого колокола брякают. Между тем птицы тут были не при чем: известно, что соборные часы бьют минуты.

— А как Петр Лаврович срезался с имянинами Кассацкой? спросил Лиев.

— Да, да! воскликнула Анна Павловна. Ах, это было восхитительно! Представьте себе, Петр Лаврович, вставши как-то утром, вздумал взглянуть в календарь и видит, что сегодня празднуют Екатерине. В 12 час. он надевает фрак, лайковые перчатки и цилиндр и отправляется к Кассацким. Звонит; ему отпирает девушка. Не спросивши дома ли барыня (в свои именины она, конечно, дома и ждет гостей), он снимает пальто и входит в зал. Его несколько поражает пустота и тишина в комнатах, но он думает: верно я пришел первый. Между тем м-те Кассацкая находилась в кухне и была занята приготовлением обеда. (Надо вам сказать, поясняет Анна Павловна, что, как хорошая хозяйка, она не выходит из кухни, пока все не налажено под ее личным присмотром), при этом, конечно, в полном нэглижэ. Вдруг ей говорят, что пришел Лавров. Ни самого Кассацкого, ни дочери не было в это время дома. М-те Кассацкая должна была поскорее одеться и выйти к Лаврову. Взглянув на его парадный костюм, она не мало изумилась, а он расшаркался и поздравляет ее с днем ангела. М-те Кассацкая ужасно сконфузилась и говорит: да я не-сегодня именинница.—Не сегодня? но ведь, кажется, Екатерины бывают один раз в году?

— Да меня зовут Елизаветой, а не Екатериной...

Можете представить себе смущение Лаврова!

Вообще он часто бывал рассеян. Впрочем, и не он один, продолжала Анна Павловна, взглянув на Проневского и Гернета и засмеялась. Как-то под вечер приходит сюда Петр Лаврович, садится и мы начинаем беседовать. Я замечаю, что он без галстука, но не говорю ни слова. Вскоре является Петр Иванович Проневский. Я как взглянула на него, так и не могла удержаться от смеха. Одет он был, как всегда, джентльменом, но—без галстука!—Господа, взгляните друг на друга и скажите, чего у вас не достает. Они разом дотронулись рукою до шеи и оба пустились бежать. Я едва уговорила их остаться. И что же вы думаете? Приходит *еще* один молодой человек (Анна П. сделала ударение на *еще*, очевидно смеясь над слабостью Проневского помолодиться) и когда он вошел в гостиную, мы так все и покатались со смеху: и на нем не было галстука! Согласитесь, что такие совпадения довольно редки, можно, право, было подумать, что все трое уговорились явиться ко мне без этой важной принадлежности костюма...

Так время прошло незаметно в веселой беседе и мы с Линевым и Гернетом вышли от Анны Павловны когда было уже далеко за полночь.

Линев, оставаясь в городе, ночевал обыкновенно у Гернета, потому мы все и отправились к последнему. На полу в „зале“ разложили что попало под руку и мы улеглись тут с Линевым, Гернет же в своей спальне.

Я заснул как убитый и проснулся от стука западни. Был уж день. Рублевые часики на стене показывали десять. Подняв голову, я увидел Петра Ивановича Проневского, который пыхтя раздевался в прихожей. Сняв пальто, он очутился в элегантной жакетке, в лайковых перчатках и с цилиндром в руках. Я вскочил и стал одеваться. Линев тоже.

— Не стесняйтесь, господа, ради Бога не стесняйтесь, говорил Петр Иванович, перешагивая лакированными сапожками через нашу постель и стараясь удержаться на ногах, так как сила тяжести влекла его неудержимо по направлению к Сухоне. Я, правда, забрался рано и потревожил вас, но у меня сегодня еще много визитов.

Гернет вышел и стал „занимать“ гостя, пока мы одевались и умывались. Петр Иванович просидел с четверть часа и уехал.

Я выразил мое удивление по поводу парадного костюма Петра Ивановича. Гернет усмехнулся.

— Да ведь он приезжал *отдать вам визит...*

Было уже одиннадцать часов. Напившись чаю, Линев предложил отправиться разыскивать для меня квартиру.

Приискать квартиру не представляло особенного затруднения: квартир было много и все они дешевы до смешного на мой взгляд; оставалось выбрать ту, которая удобнее и поближе к центру города. Но Линев ужасно торговался, особенно же напирал он на то, чтобы хозяева были люди хорошие. Наконец, мы, бродя по городу свернули вправо от вологодской дороги в довольно пустынную, всю поросшую травой улочку и зашли в двух-этажный старенький домик, принадлежавший, как оказалось, одной помешанной старухе Ерыкаловой. Домом этим, впрочем, управляла не сама старуха, а дочь ее вдова, у которой было четверо детей. В верхнем этаже этого дома были три чистеньких комнаты с прихожей. Но одну из этих комнат занимал сын хозяйки, молодой человек лет 20-ти, служивший в уездном суде. Ли-

нев знал эту семью и отзывался о ней хорошо, но на его предложение молодому человеку очистить занимаемую им комнату, тот не согласился и мы ушли ни с чем, несмотря на то, что хозяйка, очень бедная женщина, была очевидно рада постояльцу.

Порешили отложить поиски до завтра, а теперь пообедать и затем вечером отправиться на солеваренный завод.

Часов в шесть мы вышли из дому с фонарем в руках, так как тьма была непроглядная и дорога грязна, до завода же от города, как я уже сказал было две версты. В поле дул сильный ветер и, как мы ни старались защищать наш фонарь, его потушило. Так как я, не зная дороги, ступал очень нетвердо, то Линеv взял меня под руку. На половине пути в какой-то деревеньке зашли в кабак и там зажгли фонарь.

Линеv шутил всю дорогу и когда я раз споткнулся он, смеясь, предложил мне взять меня на руки.

— А то с первого же раза так испугаетесь нашей дороги, говорил он, что и на завод не станете ходить, а мне хотелось бы, чтобы вы почаще к нам заглядывали.

— Не беспокойтесь, если только не наскучу, то стану часто бегать, вы уж меня за труса считаете.

— Нисколько не считаю, ссыльный не может быть трусом. Ссылка это лучший аттестат смелости духа.—А вот и огонек.

Действительно, направо от дороги мелькнул огонек в окне маленького домика.

— Здесь живет живописец Ерехинский, сказал Линеv.

— Живописец? Надо с ним познакомиться.

— Познакомьтесь, он хороший человек. Сын его рабочим на заводе. А вы сами рисуете?

— Не то что рисую, а так, пачкаю, а хотелось бы поучиться. Вообще мне надо учиться.

— Хорошее дело. Вот Н. А. Гернет тоже все собирается учиться. Гернет что то пробурчал.

— Вы к чему же более имеете склонность? спрашивал Линеv.

— Более всего имею склонность к естественным наукам. Но сперва надо дополнить общее-то образование. Читал я много и ужасно увлекался путешествиями. Но чтобы путешествовать с толком, надо ведь очень много знать, неправда ли?

— Совершенно верно и прежде всего—языки.

— Вот я и хочу прежде всего заняться поосновательнее языками. Немецкий мне хорошо знаком, по французски я тоже говорю немного, а читаю без лексикона, надо теперь изучить английский.

— Благое дело, благое дело. Sie sprehen also deutsch?

— Jawohl.

— Wo haben sie die Sprache erlernt?

— Ich war zwei Jahre ein Auslande *).

— Вот это чудесно! Значит мы с вами и будем постоянно практиковаться.

Так разговаривая, добрались мы наконец до квартиры Линева, расположенной в верхнем этаже довольно большого и нового дере-

*) — Значит вы говорите по-немецки?

— Да.

— Где вы изучили язык?

— Я два года был за границей.

вянного дома. Внизу жила хозяйка, готовившая Линеvu обед и исполнявшая все его домашние надобности.

Квартира эта, хотя и неоклeнная обоями, смотрела очень приветливо и понравилась мне своею необыкновенною чистотой. Она состояла из четырех или пяти светлых, высоких комнат.

Пообчистившись от грязи и отдохнув немного, мы отправились все втроем к Кокоревым, жившим неподалеку в большом, старинном, деревянном, двух-этажном доме. Этот дом я припомнил. Сюда мы приезжали на свадьбу из Верховажья в 1856 году.

Александр Михайлович Кокорев, красивый мужчина, средних лет, одетый в русское платье, встретил нас весьма любезно и представил мне свою жену, племянницу и свояченицу. Жена его Анна Павловна, красивая брюнетка, бойкая, веселая, оказалась весьма недюжинной личностью по своему уму и образованию. Надежда Васильевна Купреянова, та самая Купреянова, которую воспевал и смерть которой оплакивал в своих стихах Круглов много лет спустя, барышня лет 20-ти, весьма миловидная, с открытым лицом и ясным взглядом серых глаз, также произвела на меня хорошее впечатление. Сестра Анны Павловны—вдова Елизавета Павловна Пец не отличалась особeнным умом и развитием, но была еще красивее своей сестры, баба, что называется, в русском вкусе: белая, как воск, на щеках алые пятна неподдельного румянца, губы сердечком, черные как вишни глаза на выкате и черные густые волосы.

Сейчас же явился на стол самовар и началась беседа. Кокорев и жена его удивлялись и смеялись, когда я стал рассказывать им все подробности свадьбы, на которой я присутствовал в этом самом доме двенадцать лет тому назад, описывая не только физиономии замеченных мною лиц, но даже и их костюмы, припомнил и страшное оскорбление, нанесенное мне на свадебном обеде: меня обнесли супом, вероятно, по той причине, что я сидел между большими и лакей, разносивший суп, не заметил вовсе гостя в 1½ аршина ростом.

— Мы постараемся как-нибудь загладить это оскорбление, сказала Анна П., смеясь.

— Велите подать мне две тарелки супу?

— Нет, мы заплатим вам двойным расположением.

— Заслужу ли я еще хоть одно?

— Надо предполагать лучшее, а не худшее.

Она задумалась и продолжала как бы про себя:

— Да, двенадцать лет! А ваша бывшая подруга Маша Пестерева вышла замуж за Конисского. Конисский был сослан к нам в Тотьму по политическому делу. Он влюбился в нее, она в него, но так как дедушка Варсанофий Иванович не соглашался выдать свою внучку за ссыльного, да еще хохла, да еще и очень некрасивого собой, то Александр Яковлевич принужден был похитить свою невесту. Они обвенчались потихоньку и затем уехали на юг. Теперь они живут в Екатеринославле, он известный на всем юге адвокат. Вы бы не узнали маленькую Машу. Это стала теперь вот такая бабища, в эту дверь едва пролезет, у нее уже двое детей. А Еня вышла замуж за здешнего следователя Ракова и через год умерла, оставив дочь. Когда увидите Юленьку, пожалуй скажете, что это Еня Пестерева, оставшаяся в том виде, какою вы ее знали,—до того она похожа на мать. И вас мы здесь женим: невест у нас пропасть.

— А что же моя жена станет кушать?

— То же, что и вы.

— А если моего обеда на двоих не достанет?

— Ну вот, может ли быть, чтобы здоровый и образованный мужчина не мог прокормить своей жены!

— А нельзя ли на таких условиях, что я стану себе зарабатывать на обед, а жена мол—себе.

— Тогда из за чего же и выходить замуж, какой вы чудак, однако. Девушка для того и выходит замуж, чтобы жить на чужой счет.

— Если так, то пусть здешние невесты на меня не рассчитывают. Притом же я не съумею устроить похищения.

— Мы вам поможем, тут нет ничего мудреного, впрочем, напротив, это очень весело. Мы вам дадим свою лошадь, вы подъедете вечером к окну, высадите вашу невесту, отправитесь в церковь. А тему для разговоров вы нам дадите по крайней мере на месяц.

— Но, ведь, кажется нужно сперва влюбиться?

— Само собою разумеется. Или, хоть показать вид, что влюблен. Женщины народ легковверный... все принимают за чистую монету.

Этот вечер, как вчерашний, прошел для меня незаметно. После полуночи нас накормили ужином и затем мы вернулись к Линеvu, где и улеглись спать.

Я проснулся на другой день часов в восемь и когда встал и вышел в зал, Линеv, успевший уже побывать на заводе и поработать, сидел за чаем. Ульяна Семеновна, его хозяйка, бойкая, здоровая баба поставила на стол тарелку с горячими лепешками из ржаного теста, имевшими вид плоскодонных лодочек, нагруженных до самого края овсяной крупой, замешанной на кислом молоке со сметаной. За эти лодочки мы и принялись с большим аппетитом. Тут же явилась дочь Ульяны—Лиза, чрезвычайно миловидная, черноглазая лет 11 ти девочка, отцом которой был сам Кокорев. Линеv налил ей чашку чаю и Лиза молча принялась пить, оглядывая меня с любопытством своими бархатными глазками.

После полудня мы вернулись с Гернетом в город.

Под вечер я пошел прогуляться по городу и встретился с тем самым молодым человеком, Василием Максим. Пахолковым, в доме которого мы вчера смотрели квартиру. Он поздоровался со мной и сказал ласково:

— Наймите у нас квартиру, я ведь вас беспокоить не буду.

Мне поглянулось его лицо и откровенная просьба и я ответил: хорошо, я перееду к вам.

— Ну вот и прекрасно. Вы остановились у Н. А. Гернета. Так я с братишками перенесу ваше имущество.

— Все мое имущество в чемодане да сак-вояже. Впрочем, есть еще одеяло, подушка, да узел. Я это все и сам могу перенести.

— Зачем же, мы все перенесем.

В тот же день я перебрался в дом Ерыкаловой и поместился рядом с Василием Максимовичем. В моих комнатках полы были вымыты и устланы половиками и хозяйка, т. е. мать Вас. М-ча, встретила меня в белом чепце, серьезная и солидная. Сам Вас. М-ч оказался добрым, трезвым и весьма неглупым человеком.

(Продолжение следует).

З А П И С К И

Николая Александровича Ивануцкого.

(Продолжение).

VI. Начало ученья.

Итак, я поселился в своем собственном уголке, в своей келье, где уже никто не мог мне мешать жить как я хочу и делать, что мне угодно. Тут я могу и петь и плясать, если мне вздумается и стучать и сорить сколько душе угодно, никто не посмеет обрушиться на меня с ругательствами за эти „беспорядки“.

Я чувствовал себя необыкновенно хорошо в своем уединении. Правда, я не пел, не плясал, не стучал и даже не сорил, я довольствовался сознанием того, что я могу и петь и стучать и сорить, да и некогда было, так как на другой же день по переселении в дом Ерыкаловой я принялся за работу, работу *самообразования*.

Но прежде чем говорить о своих занятиях, я хочу рассказать где я жил, как жил и чем жил.

Квартира моя состояла из крошечной прихожей, маленькой комнаты в одно окно, отделявшейся от прихожей перегородкой, и большой комнаты в четыре окна. Три передних окна выходили на улицу, остальные два в огород. Из этих двух окон открывался прекрасный вид на долину речки Песей-деньги, на Сухону и лес противоположного берега. Вид этот замыкался с одной стороны собором, с другой — церковью Зеленой слободы.

Комната была чистенькая, оклеенная обоями, но пол некрашенный, у окошек на скамеечках помещались герани, китайский розан стоял в углу, а на треугольном угловом столике лилия, в простенке между окнами висело зеркало.

Плата за эту квартиру с хозяйским отоплением, мытьем полов и самоваром была положена 1 р. в месяц. Кроме того хозяйка обязана была приготовить мне обед, из моей провизии разумеется.

Надо сказать, что по приезде в Тотьму я получил пособие за прошедшие четыре месяца 24 руб. и с тех пор стал аккуратно получать по 6 р. в месяц. Эти деньги с присоединением к ним 10 или 15 р., оставшихся у меня по приезде в Тотьму, были предназначены на приобретение книг, необходимых для предстоящих занятий. Некоторые книги сейчас же и были выписаны из Петербурга, другие из Вологды, некоторые приобретены у Гернета (словарь Татищева, атлас Штилера, он отдал их за бесценок). Обед мой состоял обыкновенно из одного кушанья — щей *или* гречневой каши с молоком *или* пирога, а по праздникам из щей и каши *или* из щей и пирога. Чай пил с черными суха-

рями.—Конечно в виду этих *или*, можно было по крайней мере через день обедать в гостях, как это практиковал Гернет, особенно в конце месяца. Но я не мог, да и не хотел следовать его примеру, напротив, решил ходить по гостям как можно реже, а посвящать весь день занятиям.

Хозяйка моя Марья Евсеевна оказалась доброй, скромной, даже пожалуй уже чересчур сосредоточенной, молчаливой женщиной. Надо сказать, что мать ее, Евгения Степановна сошла съума из-за того, или вернее, после того, как муж ее в одно утро 20 лет тому назад ушел в лес, чтобы вырубить себе что-то для хозяйских надобностей и—пропал, пропал точно в воду канул. Все поиски были напрасны и нигде не нашли даже следов его. Жена его тосковала долгое время и, наконец, помешалась. Для медика-психиатра она могла бы представить интересный предмет наблюдения. Довольно будет сказать, что она могла не спать по целой неделе и при этом вовсе не ложилась, а проводила весь день в ходьбе, вечером же возвращалась домой, садилась за чай и выпивала в продолжение ночи по три самовара, т. е. около двух ведер горячей воды. Помешательство ее, повидимому, вовсе не имело отношения к пропаже мужа. Оно относилось, преимущественно, к царской фамилии и другим, иногда давно уже умершим, высоким лицам. То вдруг в кучере лесничего Каринского она узнавала в. кн. Константина Николаевича, то оказывалось, что принцессу Дагмару привезли тайком в Тотьму и заперли в остроге, то старуха узнавала, что умерший давно митрополит Иннокентий вовсе не умер, а скрывается в Тотьме под именем Линева и т. п.

Василий Пахолков служил в уездном суде и получал жалованье немногим больше моего, т. е. 8 р. в месяц. Он отличался весьма твердым характером и был главою в семье, перечить ему в чем бы то ни было не пытался никто и никогда. Два его брата мальчики 10 и 11 лет ходили в уездное училище, сестренка в прогимназию.—Вся семья очень бедствовала! Зачастую у них не доставало даже хлеба, а обыкновенно обед их состоял из черного хлеба с толченым чесноком или квасом. Они можно сказать питались надеждами на будущее, которое зависело от успехов на поприще службы Василия Максимовича и затем двух его братьев. И, несмотря на жалкое материальное положение, эти люди держали себя с достоинством, которому многие могли бы позавидовать. У них бывали иногда „сцены“ с сумасшедшей бабушкой, если та позволяла себе брать от посторонних пятаки и гривенники или какие-нибудь обноски, хотя от помощи они и не отказывались, например, если Кокорев или кто другой из богатых людей посылал им на праздник мешок муки или мяса. Кокорев и подобные ему магнаты считались как бы естественными покровителями бедных и взять от них подарок не значило унизиться.

Выписав нужные мне книги из магазина, я вместе с тем обратился к сестре и просил ее содействия: именно, купить и послать мне хороший самоучитель английского языка, словарь и две три простеньких английских книжки, думая выслать ей потом деньги по счету.

Сестра на этот раз почему то удивительно раздобрилась и раскошелялась: послала мне не только все, что я просил, но и прибавила от себя несколько книг. Таким образом я получил самоучитель англий-

ского языка Гандса по методу Оллендорфа, словарь Рейфа и Бутузова, The vicar of Wakefield, The children of the new forest, Life and adventures of Robinson Crusoe и, в заключение, пять томов Байрона, издание Таухница, всего рублей на 12.

И я принялся с жаром, можно сказать с яростью, за английский язык. Прежде всего я *два раза* прошел Оллендорфа, а затем принялся не за Vicar или Children, как вероятно думает читатель, а прямо за Байрона, именно за Манфреда. Так как и времени и рвения у меня было слишком достаточно, то я порешил, что если пойму Байрона хоть на половину, то все Гольдсмита, Майн-Риды и Бичер-Стоу покажутся мне детскими игрушками. Ученые педагоги засмеются надо мной: начать переводить Байрона—это нелепость! Но я так вздумал и так делал и не раскаиваюсь в этом. Я сидел по целым часам над одним стихом и обыкновенно добивался таки его смысла. Я заучивал отрывки из поэм и отдельные романсы и это приносило огромную пользу.

Как известно, в самоучителе Гандса правила английского произношения занимают массу страниц, заучивать эти правила мне показалось просто невозможным и я нашел более удобным выписывать все незнакомые мне слова в отдельную тетрадь, обозначая тут же их произношение русскими или немецкими буквами, напр. business—занятие (бизнес), wife—жена (уайф), knight—рыцарь (найт), heavy—тяжелый (хеви) и т. п. и затем заучивать произношение слово за словом, заучивая вместе и значение.

Дело подвигалось у меня быстро, я сам был в восторге от своих успехов. По целым часам я декламировал стихи, но мне хотелось и говорить и я разговаривал сам с собой, с карточкой Саши и Веры Михайловны, с китайским розаном, с лилией, наконец с сумасшедшей Евгенией Степановной, которая нередко заходила ко мне с целью сообщить какую-нибудь поразительную новость вроде вышеприведенных о Константине Николаевиче и Дагмаре. Евгения Степановна выслушивала мои английские фразы с большим вниманием, качала головой и говорила:

— Не понимаю, батюшка, не понимаю, а вы лучше послушайте, что я вам скажу. И наклонившись к моему уху, начинала шептать: Гернет-то ведь оказался Каракозов, вот он мошенник, где притаился, а сказали, что повешен... Какое повешен, ходит вон по рынку, да девок высматривает. Я его спрашиваю: ты, говорю, как это с виселицы-то сорвался? Думаешь тебя и не узнают, как синие-то очки надел? А он, дурак, хохочет. Вот дурак-то!

И сама захохотав, Евгения Степановна убежала.

Занимаясь ревностно английским языком, я прошел вместе с тем основательно арифметику, геометрию и даже алгебру, переделал по этим предметам сотни задач, повторил географию, историю, зоологию, минералогию, ботанику, затем принялся за чтение русских писателей и, благодаря училищной библиотеке, прочел их всех, начиная с Кантемира, прошел теорию словесности, занимался и французским языком по часу в день регулярно.

Таким образом, до начала лета, когда время занятий сократилось на четвертую часть, я, по моему расчету, просидел за книгами 1500 часов. Вставал я аккуратно в 6 часов (хотя бы перед тем пришлось лечь

в 2 ч. утра, что бывало). Напившись чаю, садился к столу и занимался до полудня. В полдень совершал прогулку по комнате версты две (по улицам я никогда не любил гулять), затем обедал, опять садился к столу и занимался до пяти. Если в шесть или в семь не уходил куда-нибудь в гости, то посвящал вечер тем же занятиям или чтению „посторонних“ книг, обыкновенно до полуночи и никогда лежа, а всегда сидя. Так как подышать свежим воздухом было необходимо ежедневно, то я, или сидел у калитки, если было ветрено, а если нет, то на углу моей улицы и вологодской дороги на палисаднике. Это последнее обстоятельство возбуждало в соседях немалое любопытство, так что некоторые обращались ко мне с вопросом: кого это я ожидаю? Но потом, разумеется, привыкли и перестали обращать внимание.

Привычка к усидчивым занятиям, начало которой положено было еще в Петербурге, укрепились во мне до того, что просидеть за письменным столом 15 часов в день для меня ровно ничего не составляет. И до сих пор я не ощущаю никаких вредных последствий от этого сидения: у меня никогда не болела ни грудь, ни голова, ни спина, а зрение и теперь превосходное. Сохранению зрения, надо заметить, способствовали, вероятно, не мало голубые консервы, которые я стал носить с 20-ти летнего возраста. Курить я начал с 16 лет, курил беспрерывно и курю много и от этого тоже не ощущаю никаких вредных последствий. Так что если сидячая жизнь и куренье и губят человека, по уверениям многих, то, надо признаться, довольно медленно.

Я просидел безвыходно три недели. Если что возмущало по временам мой душевный покой, так это воспоминание о Саше, беспокойство за его участь. Когда наступали сумерки, то делались приступы тоски, иногда до того тяжелые, что я плакал. Эти переходы от света к мраку и утром от мрака к свету я вообще всегда не любил и впоследствии принял за правило избегать их по возможности: как только садилось солнце, я спускал шторы и зажигал огонь, а утром сидел с огнем до полного рассвета.

Правда, уезжая из Вологды, я сделал все возможное, чтобы Саша продолжал учиться и в письмах из Тотьмы к Вере Михайловне я только и твердил: ради Бога не оставьте Сашу, не оставьте Сашу, не жалейте для него ничего, уговаривайте его, чтобы он продолжал учиться. Писал и самому Саше, писал и Авессаломову и Шевяковой, прося их не оставлять Сашу и, наконец, с удовольствием узнал что все эти добрые люди отнеслись сочувственно к моим просьбам. Саша сам писал мне, что продолжает учиться и надеется сдать экзамен, как оно и случилось.

VII. Новые знакомства.

На третьей неделе пребывания моего в Тотьме, Гернет как-то зашел ко мне и серьезно стал уговаривать сделать визиты и познакомиться с обществом. Мотивом своих забот Гернет выставлял вовсе не желание для меня развлечения и не экономию, а влияние, которое я могу иметь на некоторых личностей из среды молодежи, как мужского, так и женского пола, особенно последнего.

— Здесь есть личности, которые заслуживают серьезного внимания и поддержки, я вам перечислю их: дочь мирового посредника

Кассацкого, дочь помощника исправника Малевинского, жена лесничего Каринского, племянница Кокорева—Купреянова, которую вы уже знаете. Это женщины. Из мужчин же... он назвал тоже человек пять. Надо признаться, что я, при всем моем желании, не могу быть для этих людей тем, чем можете быть вы: вы и образованы лучше меня и говорить умеете лучше и лучше моего знаете людей, как я вижу. Есть и еще причины, которые мешают мне вполне посвятить себя делу пропаганды между этими людьми здравых понятий и честных идей.

Я улыбался, слушая эти слова, так как это были слова не самого Гернета, а Лаврова. За несколько дней до того, я получил письмо Лаврова, в котором этот последний выражает беспокойство по поводу моего добровольного заточения. — „Или вы готовитесь в монахи? Это опасная вещь. Познакомтесь“ и проч.

Как бы там ни было, я призадумался серьезно над словами Гернета.

С того дня прошли почти 18 лет и теперь вопрос о пропаганде здравых понятий и честных идей остается для меня нерешенным вопросом.

Слишком две тысячи лет тому назад один из величайших людей разбирая этот самый вопрос, сказал: „Wozu der Welt offenbaren, was ich inschwerem Kampf errang? Die Wahrheit bleibt dem verborgen, den Begehren und Hass erfüllt. Mühsam ist es, geheimnissvoll, tief, verborgen dem groben Sinn, nicht mag's schauen, wem irdisches Trachten den Sinn mit Nacht umhüllt“¹⁾.

В ответ на эти сомнения он услышал совет самого Браммы:

„Es sind Wesen, die sind rein von dem Staube des Irdischen, aber wenn sie die Predigt der Lehre nicht hören, gehen sie zu Grunde“²⁾.

И вопрос решился в пользу пропаганды.

„Schlage die Trommel und fürchte dich nicht“...³⁾ провозгласил другой великий мыслитель в половине 19-го века, мыслитель и сердцевец, посвятивший всю жизнь свою делу „пробуждения уснувших“. Кожа на этом барабане была собственно кожей барабанщика, потому каждый удар, пробуждавший уснувших и производивший тревогу в среде дремлющих, отзывался и в нем самом мучительною болью. И не живем ли мы, стоящие на верху горы, его идеями и не будут ли ими жить многие и многие поколения?

Но другой, может быть еще более глубокий мыслитель сказал:

Morgen werd'ich wiederkommen,

Und mein Licht ist ewig jung,

Doch für dich umsonst erglommen,

Wenn du schläfst in Dämmerung...⁴⁾.

¹⁾ К чему открывать миру то, что я завоевал в тяжелой борьбе? Истина остается скрытой от того, кто полон корысти и ненависти. Глубоко, в тайне скрыта она от грубого чувства; смотреть на нее не смеет тот, чей ум окутан тьмою земных стремлений.

²⁾ Есть существа чистые от земной пыли, но когда они не слышат проповеди науки, они погибают.

³⁾ „Стучи в барабан и не бойся“ — начальная строфа знаменитого стихотворения Гейне.

⁴⁾ Завтра я снова приду

И вечно свет мой юн.

Но светит для тебя напрасно—

В сумерках ты спишь...

Вот оно, это страшное слово *umsonst!* *) А если труды всей моей жизни, все жертвы и лишения ради достижения заветной цели окажутся в конце концов *umsonst?*

Может ли быть этот вопрос решен, или не может, только я лично пришел вот к какому заключению: будить все-таки *следует*, только будить *как?* Не боем барабана,—я вообще не люблю никаких резких звуков, а примером, примером и примером. Ты ищешь выхода из мерзости запустения, окружающей тебя, приди ко мне и посмотри, как я живу. Ты хочешь трудиться, хочешь знать, *как* надо трудиться, приди ко мне и я тебя научу. Ты хочешь покоя, отдыха от безумной сутолоки—приди ко мне и отдохни.

Это я рассуждаю так теперь, тогда же я думал, что врываться насильно в чужую душу и производить там переполох, не только можно, но и должно. Я так думал, но на крутые, резкие меры, впрочем никогда бы не решился не по принципу, а по миролюбию своего характера. Да в данное время не представлялось в таких мерах и надобности. Почва была уже подготовлена, оставалось только сеять и ожидать всходов.

Я и решил сделать визиты и посмотреть на этих заслуживающих серьезного внимания и поддержки субъектов. Гернет составил мне список семейств и отдельных лиц, которых я должен был посетить и я начал посещение в ближайшее воскресенье.

Так как всех ближе ко мне жил помощник исправника Малевинский, то я и зашел к нему.

Малевинский, уже старик с каким то угнетенным печальным выражением глаз встретил меня любезно и представил свою дочку и свояченицу. Я не без любопытства взглянул на этот первый экземпляр из „заслуживающих внимания и поддержки“ и увидел довольно вульгарную, краснощекую физиономию; впрочем физиономия эта обладала выразительными черными глазами, которые всматривались в меня с видимым любопытством.

Просидев здесь с полчаса и выпив стакана два чаю в сопровождении разных сухариков и лепешек, отправился в следующий по близости дом, к Кассацким.

Кассацкий, как уже упомянуто, занимал должность мирового посредника. Поляк родом, он, несмотря уже на свои немолодые годы и отсутствие одного глаза, отличался веселым, бойким и очень вспыльчивым характером. Как мировой посредник, он был бездельник и взяточник. Жена его высокая, худощавая барыня, не уступавшая мужу в живости характера, могла назваться неглупой женщиной. Она много читала, отличалась большою любознательностью и была свободна от массы скверных предрассудков, свойственных прекрасному полу. Дочь ее, Лидия, лицом и характером походила более на отца: небольшого роста, довольно полная блондинка, она не могла назваться красивой, даже симпатичной, особенно мне всегда не нравились ее глаза—какого то неопределенного зеленоватого цвета, без блеска и выражения. Смотря в эти глаза, можно было подумать, что обладательница их—самая заурядная, ограниченная, даже тупая личность, проводящая

*) Напрасно.

полсуток в постели, четверть суток за обеденным столом и четверть в праздной болтовне. Но думать так было бы большой ошибкой. Я могу сказать теперь, не раздумывая ни минуты, что Лидия была девушка выдающаяся, девушка с богатыми природными задатками и необыкновенно твердым, настойчивым характером. Правда, животные инстинкты были в ней развиты довольно сильно, но она умела с ними бороться и в конце концов вышла победительницей из борьбы за свою свободу.

Встретившись и разговорившись с Лидией, мы как-то сразу поняли друг друга и между нами установились отношения особого рода. Всего скорее эти отношения можно было назвать братскими. Лидия была со мною откровенна более чем с кем-нибудь, я думаю более даже, чем со своими подругами Куприяновой и Малевинской. Если бы кто-нибудь подслушал когда-нибудь наши разговоры, он бы изумился этой откровенности. Как часто она говорила мне: „То, что я хочу вам сказать, не следовало бы мне говорить, как девице, молодому человеку, но я думаю, что *вам* можно сказать. Где решаются важные вопросы, там нечего выбирать слова и стесняться в выражениях“. И говорила, не краснея (искусственно, как умеют краснеть барышни, когда это *нужно*), прямо и твердо. И я отвечал ей так же, как это вообще и следует.

У Кассацких я просидел тоже с час и тоже выпил стакана два какого-то напитка с приложениями и отсюда направился к Каринским.

Н. А. Каринский, лесничий и, получая жалованье рублей 600, проживал тысячи четыре. Он корчил из себя аристократа и дом его был первым в городе по роскошным завтракам, обедам и вечерам. Квартиру Каринские занимали лучшую в городе, отделанную с роскошью и со вкусом.

Марья Аркадьевна Каринская, еще молодая женщина, не отличалась красотой, но и дурной ее нельзя было назвать: страстная, решительная женщина, она, выйдя замуж чуть ли не 16-ти лет, скоро увидела, что ошиблась и энергично стала добиваться выхода из своего ложного положения. Случай помог ей: мужа ее отдали под суд за взятки и она придралась к этому обстоятельству, как к мотиву, достаточному для разрыва, уехала в Москву и поступила в консерваторию, чтобы усовершенствоваться в музыке, которой ранее постоянно и усердно занималась, а затем самой сделаться преподавательницей.

От Каринских я едва уже притащился к Воронежским, до того желудок мой был переполнен напитками и яствами. К счастью, Воронежские не настаивали на вливании чая, кофе и на закусках: я только показал рукою на горло и просил меня пощадить. Они рассмеялись и оставили меня в покое. Муж и жена Воронежские были люди без затей и претензий, люди добрые и простые. Он служил становым приставом, посвящая все свободное время чтению, благодаря чему, а также своим природным способностям, мог назваться человеком развитым и умным, притом он был юморист и остряк.

Константин Ионович Воронежский родился в Устьсысольске, учился в Вологодской гимназии; по окончании курса вернулся на родину и поступил на службу. Живя в Устьсысольске, он сошелся и подружился с известным авантюристом Юрием Волковым и был до конца дружен

с этим замечательным человеком. Слушать рассказы Воронежского о жизни в Устьсысольске, о тамошних политических ссыльных, о подвигах Волкова, было истинным наслаждением, он все умел изобразить в лицах, схватывая самые характерные черты.

С Д. Н. Раковым и В. Т. Поповым, игравшими в летописях Тотьмы вообще и Тотемского земства в особенности весьма видную роль, я познакомился несколько позже.

Раков начал свою службу в Петербурге писцом, но как ловкий, умный и красивый собою юноша, умел скоро вылезть из рядов посредственностей и очутился судебным следователем в Тотьме. Здесь он сразу почувствовал под собою почву и решил сперва разбогатеть, а потом начать трудиться (характерный признак!). А ловкому и красивому собою человеку в провинции разбогатеть очень просто,—стоит лишь сходить в церковь и обвенчаться с какою-нибудь богатою душой. Эта богатая дура представилась Ракову в лице моей бывшей подруги детства—Евгении Нестеровой. При этом счастье улыбнулось Ракову вдвойне, через год жена его умерла, оставив ему дочь и большое состояние. Как просвещенный человек, Раков приложил все старания к тому, чтобы дать своей дочери хорошее образование. Когда в Тотьму приехала сестра Линева, умная и ученая девица, Раков предлагал ей что угодно, лишь бы она согласилась остаться в Тотьме с тем, чтобы быть гувернанткой его дочери, но Линева отказалась. Тогда Раков обратил свои взоры на А. П. Кокореву и не ошибся. Как я уже сказал, Анна П. была женщина умная и деятельная и, не имея своих детей, она вся отдалась делу воспитания своей питомицы. Раков выписывал все пособия для образования и воспитания Юлии по указанию педагогических книг и журналов. Сам он читал мало, но у него имелась очень толково составленная и ценная библиотека. Исполняя образцовым манером роль отца, он трудился неустанно и на служебном поприще. Кокшенга, отличающаяся зажиточностью своих обывателей, несла Ракову постоянно обильную дань. Несмотря на всю свою хитрость и ловкость, Раков махнул тут через край. Он не довольствовался теми сотнями и даже тысячами, которые вывозил из плодородной Кокшенги, обыгрывая мужиков в стуколку и в три-листика, он стал просто грабить, опаивая тех же мужиков и обворовывая их. Его отставили от службы.

В это время поспел земский пирог и Раков поспешил к нему, присоединиться. Как земский деятель, он пользовался такою славой, что был избран напоследок в председатели губернской управы. Здесь, т. е. в губернской управе, он орудовал три года, но тоже наскочил и должен был оставить службу, уличенный в весьма неблагоприятных поступках.

В. Т. Попов, уроженец Кокшенги (так зовется часть Тотемского уезда, заселенная потомками выселенных сюда новгородцев) и Тотемский купец—личность тоже замечательная в своем роде. Этот человек едва-ли кончил курс в уездном училище, между тем был вполне образованным. Обладая громадною любознательностью и изумительною памятью, он читал и учился непрерывно. Библиотека его, отличалась и количеством и ценностью сочинений, преимущественно по русской истории, которую Попов наиболее интересовался. Он даже писал и

мне известны напр. две его вещи: о Кокшенге и история гор. Тотьмы. Когда открылось земство, Попов был избран сперва членом, потом председателем Управы.

Из Тотемской интеллигенции надо еще упомянуть смотрителя уездного училища, трех учителей и врачей Банкера и Томковича. Это были все люди довольно образованные и порядочные.

VIII. Д. К. Гирс.

В эту же зиму 1869 г. приехал в Тотьму Гирс. Мне сообщил об этом Гернет и мы с нетерпением ждали случая увидеть, известного нам по слухам, автора „Старой и юной России“.

Гернет был у меня утром, а вечером я пошел к нему с тем, чтобы звать его к Кассацким. Гернет стал было одеваться, как явился Гирс.

Это был еще молодой человек, красивый собой, блондин, с небольшими усиками и бородкой, с нежным цветом лица и голубыми блестящими глазами. В чертах его лица было что-то еврейское, и он много напоминал Иисуса Христа*). На нем было коротенькое пальто синего драпу, кепи и башлык и лиловые шерстяные перчатки.

Гернет тотчас велел поставить самовар и мы принялись за чай. Гирс рассказывал с негодованием о том, как его схватили внезапно и не только не дали проститься с родными, но даже и взять необходимые вещи, он ехал всю дорогу в этом самом пальто и едва не замерз. Срок ссылки ему положен два года, выслан же он за речь, сказанную им на могиле Писарева(?). В Петербурге у него осталась невеста, красавица собой, необыкновенного ума и образования девушка, воспитанница графа Кушелева-Безбородко. Теперь она в отчаянии и сам Гирс тоже в отчаянии. Чтобы успокоить свои потрясенные этим отчаянием нервы, он взял в Вологде в аптеке несколько склянок *Cali bromati* и теперь пьет это лекарство. Как он будет жить в Тотьме—неизвестно, но один вид ее его ужасает и так сказать парализует действие бромистого кали, так что он, Гирс, вероятно сляжет. Между тем роман его остановился на самом интересном месте, публика требует продолжения, негодует, на журнал и Некрасов в отчаянии. А разве можно работать в снежных сугробах, на берегу какой-то Песьей-деньги, в двух с половиной верстах от северного полюса. От всего этого можно просто помешаться.

Напившись чаю, согревшись и успокоившись немного, Гирс стал вспоминать с восторгом о своей жизни в Петербурге, свои знакомства, театры и тут же принялся передавать в лицах содержание новой оперетки *La belle Helene*. Он вскакивал, жестикулировал, пел, бегал по комнате и воодушевлялся до того, что едва не уронил самовара, который и без того стоял в несколько наклонном положении вследствие неровности пола. Было уже поздно и Гернета стал клонить сон. Он сидел в тени самовара и клевал носом, открывая глаза с испугом, когда Гирс начинал петь очень приятным тенором:

Ты, Адонис, а ты, Венера,
Вы боги страсти роковой...

*) Как его изображают новейшие живописцы.

Я боялся, что Гирс заметит состояние Гернета и обидится, но он обращался преимущественно ко мне, или к самовару, прикрывавшему Гернета, а за самовар, по счастью, не заглядывал.

Наконец Гирс заложил руки в карманы, склонил голову и стал ходить задумчиво взад и вперед по комнате, повторяя: да, все это прошло и, может быть, никогда не возвратится.

Мы предложили было ему переночевать у которогонибудь из нас, но он предпочел вернуться на постоянный двор, где остановился.

На другой день Гирс нанял бывшую мою квартиру у Ерыкаловой и тотчас же принялся устраивать обстановку. Через неделю мою комнату нельзя было и узнать: она превратилась в роскошный кабинет. От печки к окну протянулась драпировка из темно-зеленого репса. За этой драпировкой у двери в комнату Василия Максимовича поставлена была кровать, покрытая малиновым одеялом. На окнах из под черных лакированных карнизов спускались тюлевые занавески, украшенные сверху такими же репсовыми мысами с кистями. Драпировки повешены и на входной двери, диван обит пестрым ситцем; в простенке письменный стол и над ним повешен портрет невесты в изящной рамке. Когда я взглянул на этот портрет, то вовсе не признал изображенную на нем барышню за красавицу. Это была просто пухлая мордашка с целой копной какой-то путаницы на голове. Одна эта копна свидетельствовала, что под нею тоже кроме путаницы ничего быть не может. Но Гирс был поэт и ничего нет удивительного, если его горячая фантазия манекена превратила в ангела. Однако возвращаясь к рассказу.

Куплена была вся необходимая кухонная и столовая посуда, самовар, кофейник и масса других нужных и ненужных вещей. В доме с утра и до вечера происходила такая суета, что не будь Евгения Степановна помешана, она бы непременно помешалась от одного стука дверей и топанья Гирсовых каблуков (он призывал этим стуком к себе хозяйку).

Когда все было устроено, Гирс сделал визиты по моему и Гернета указанию и затем охотно посещал вечера в частных домах и в клубе, даже танцевал и маскировался. Он умел нравиться и нравился всем, как умный собеседник и красивый мужчина.

С нами, т. е. Гернетом, Линевым и мною он стал сразу в дружеских отношениях, заходил ко мне беспрестанно и я бывал у него почти каждый день. Квартирой своей и хозяевами он был доволен, но его приводили в ужас черные тараканы, которых в доме была бездна и которых я напрасно пытался вывести.

— Ну, я их уничтожу, восклицал он и, как за все принимался со страстью, так принимался и за это дело. По целым часам держа в одной руке урыльник, в другой метелку, он бегал по комнате и сметал насекомых, причем вскакивал на стулья, на столы, произнося при этом тысячи проклятий. Однако так и не вывел, даже едва ли уменьшил число своих врагов, потому что в то время, как он ловил их наверху, Марья Евсеевна их разводила внизу, прикармливая умышленно и, хотя сказать не смела, но видимо была недовольна стараниями Гирса извести насекомых, которые приносят счастье тому дому, в котором поселились.

Марья Евсеевна ходила у Гирса по струнке, а сыновей ее Андрея и Николая, Гирс превратил в камердинеров: они обязаны были набивать ему папиросы, бегать с разными поручениями по городу и проч., а когда Гирс по субботам собирался в баню, то составлялась целая процессия: впереди шла Марья Евсеевна с тазом и умывальником, за нею Андрей с мылом и мочалкою, за Андреем Николай с узлом белья, за Николаем Зина с сырыми яйцами на блюдечке и, наконец, сам Гирс в башлыке и лиловых перчатках.

Роман Гирса „Старая и юная Россия“ был еще далеко не кончен, когда Гирс прибыл в Тотьму; он продолжал писать его здесь. Писал он порывами, т. е. не затрагиваясь до рукописи по целым дням, он вдруг принимался за нее и тогда уже не отрывался, можно сказать ни на минуту, ни днем, ни ночью.

В это время мы уж не смели беспокоить Гирса, так как он становился крайне раздражителен. Гернет приглашен был переписывать черняки и часто жаловался на придирчивость и нетерпение автора.

Когда наступила весна, я слышал раза два, что мои хозяева подсмеивались про себя над Гирсом, говоря: сидит, ровно сын в дупле. Я не понял, что это значит, но как-то проходя по вологодской дороге и взглянув в сторону Гирсовой квартиры, я понял сравнение и не мог удержаться от смеха. Окно, выходящее в огород и, следовательно, видимое с дороги, было отворено настежь, Гирс же сидел на диване против этого окна и на темном фоне внутреннего пространства комнаты лицо его выделялось белым пятном. Смешным казалось не это собственно обстоятельство, а то, что, как я уже сказал, во время приступов сочинительства, Гирс сидел не вставая по целым дням и, следовательно, когда ни пойдут—рано ли утром, днем, поздно ли вечером—белое лицо его все светится в глубине комнаты.

Проездом через Вологду, Гирс познакомился с Лавровым и из Тотьмы переписывался с ним. Как-то Гирс сообщил мне не без некоторой гордости, что Лавров обратился к нему с просьбой: выправить тяжелый слог его „Исторических писем“. Я не знаю, как выразил Лавров свою просьбу в действительности, но, очевидно, Гирс ее понял слишком широко, потому что Лавров пришел в ужас, когда Гирс возвратил ему рукопись. Это было не сглажение шероховатости слога, о чем вероятно и просил Лавров, а совершенная переделка всего труда, переделка и перестановка самых положений автора, уничтожение целых периодов и замещение их новыми. Взбесило же Лаврова при этом то именно обстоятельство, что Гирс продержал его рукопись очень долго, тогда как Лавров страшно торопился, рассчитывал на возвращение тетради не позже как через неделю и вдруг получает свой труд через два месяца в совершенно неузнаваемом виде.

Надо при этом оговориться. „Исторические письма“ Лаврова печатались первоначально в „Неделе“, кажется еще до приезда Гирса в Тотьму, теперь же Лавров намеревался отпечатать их отдельной книжкой, а так как его укоряли в некоторой туманности и тяжеловесности слога, то Лавров и обратился за помощью к Гирсу. Пришлось самому приняться за уничтожение тумана и тяжеловесности.

Как известно, роман Гирса остался неоконченным и хотя причиною этому была выставлена Тотьма, но в сущности и Тотьма и Арза-

мас (куда Гирс был переведен из Тотьмы) были тут почти не причем. Легкие очерки из военного быта, корреспонденции с театра войны, фельетоны—вот его область, философские же романы—это не дело Гирсов.

IX. Лето 1869 года.

Наступила весна, которой я дожидался с величайшим нетерпением. Речка Песья-деньга вскрылась и превратила в сплошное озеро всю долину между городом и Зеленью. Вслед затем вскоре освободилась от льда и красавица Сухона. Я выставил у себя зимние рамы очень рано и отворяя днем окна, не мог вдоволь надышаться весенним воздухом и запахом смородиновых почек, распускавшихся у меня в палисаднике.

Мы с Гернетом и Гирсом ходили не раз на Песью-деньгу к монастырю, где забавлялись проталкиванием льдин, причем Гирс, вооружившись дубиной, работал с таким усердием, как будто должен был получить за это хороший гонорар.

Когда вскрылась Сухона, Гернет, умевший хорошо грести и править лодкой, пригласил меня кататься по реке. Еще живя в Пскове, я по привычке к воде и не боялся ее, но там я катался не иначе, как на устойчивом, прочном ялике, здесь же были одни стружки, т. е. лодочки, выдолбленные из осинового ствола, маленькие, тоненькие как скорлупа и чрезвычайно вертлявые, но за то необыкновенно ходкие. Нос у такой лодочки ничем не отличался от кормы и плывут в ней обыкновенно с одним веслом в виде лопаты. Если пловец один, то он садится в самый конец лодки, тогда другой конец, нос, подымается из воды и лодочка имея гораздо меньше точек соприкосновения с водою, чем если пловец сядет посредине, летит, действительно, как стрела. Но таким образом могут ездить только опытные гребцы.

Если же в лодочке плывут двое или трое, то приспособляют весла, как к ялику, один гребет этими веслами, другой же сидит в корме с рулевым веслом.

Сердце мое сжалось, когда я ступил первый раз на дно такой лодочки и она закачалась у меня под ногами, как корыто. Я невольно закрыл глаза и предал дух свой богу, когда мы вылетели на средину реки и понеслись по течению. Сухона, вообще очень быстрая, весною представляет громадную массу воды, несущуюся стремглав и при этом вертящуюся кругами, из средине которых выкидываются водяные бугры.

Но страх мой скоро прошел и, покатавшись раза три-четыре с Гернетом, я решился один сесть в лодку и взять весельце. Долго же я бился, прежде чем выучился владеть как следует этим весельцем и держать лодку прямо. Стоявшие на берегу люди и встречавшиеся на реке в таких же стружках, смеялись, глядя, как моя лодка, попав в особенно сильную струю, описывала круги. Не один раз бывало, что я имел намерение только переплыть через реку, а меня уносило за Черняково и потом, не имея силы плыть против течения, я выходил на берег и тащил лодку на веревке.

Однажды я не на шутку струсил, когда вздумал отправиться на кладбище, находившееся против города и взял с собою Мишу Мара-

кова и свою собаку Милорда. Мы переправились благополучно, но пока гуляли на кладбище, поднялся ветер и Сухона заволновалась. Мы поспешили в лодку, отчалили от берега, не дойдя до середины реки, увидели себя в опасности. Воду захлестывало в лодку, так что ноги мои стояли в воде, у Миши сорвало ветром шапку, он не мог совладать с рулевым веслом, выпустил его и стал плакать. Думая облегчить лодку, я решил выбросить собаку. Боясь, что она начнет упираться и еще больше раскачает лодку, я быстрым движением схватил ее за шиворот и швырнул в реку. Она окунулась, выплыла, оглянулась на нас, как будто хотела сказать: этакие свиньи! и поплыла к берегу. Лодка наша обернулась несколько раз, Миша совсем лег на дно, вероятно боясь, что я и его выброшу, но я собрал все силы, поставил лодку в разрез волнам и вскоре мы, мокрые и дрожащие, вышли на берег в устье Песей-деньги.

Это маленькое приключение, из которого я как бы то ни было вышел победителем, придало мне смелости в дальнейших плаваниях моих по Сухоне.

Май месяц стоял превосходный и мы не раз предпринимали поездки на лодках вместе с Кокоревым и Кассацкими обыкновенно вниз по Сухоне к устью Леденги или противоположной ей Еденги; с собой бралась, разумеется, закуска и самовар. На высоком берегу Сухоны под соснами раскладывали костер, гуляли и пели до поздней ночи. Но я предпочитал этим поездкам с барынями поездки в одной мужской компании на рыбную ловлю. Гернет, а особенно Линеv, были любителями рыбной ловли; я никогда не имел пристрастия к этому занятию, но не упускал случая ехать вместе с ними, имея в виду насладиться плаваньем по реке, провести ночь на берегу реки у костра или в лесу. Здоровье мое не только позволяло провести ночь другую без сна, проваляться на земле и перемокнуть под росой или под дождем, но подобное времяпрепровождение действовало даже очень благотворно. Опять таки скажу: что для одного яд и гибель, то для другого лекарство. Один, пролежавши ночь на земле, когда с одной стороны его поджаривает ночной туман, схватит воспаление или, по меньшей мере, ревматизм, другой же чувствует себя после этого несравненно бодрее и лучше. Я, по счастью, отчислен судьбою ко второй категории.

Впрочем, рыба в этих пбездках „на рыбную ловлю“ играла далеко не первую роль, как и воды при „поездках на воды“. Тут предстояла целая совокупность удовольствий. Сборы, плавание по реке в лодке, чай и закуска на свежем воздухе, бродня по воде с неводом, возвращение, улаждаемое мыслью о покое у себя дома.

Мне очень памятна первая наша поездка на рыбную ловлю на Дедов остров. Поездку эту организовал Линеv и пригласил с собою и Гирса. Гирс охотно согласился ехать, имея в виду и „понаблюдать“ (он как бытописатель, на все смотрел с точки зрения собирания материала). Мы с Гирсом, как соседи, обещали в 11-м часу вечера зайти к Гернету, где нас должен был ожидать Линеv со своей свитой.

В 10 часов мы были уже на вилле Гернета, где Линеv ждал нас; с ним были три работника с завода: их обязанность была тянуть лодки вверх по реке бичевой и затем закидывать невод. С собой взяли котелок для варки ухи, медный чайник для кипятку; четверть водки,

завернутая в байковое одеяло, поручена была одному из рабочих, со строгим наставлением беречь это хрупкое дитя пуще зеницы ока; другой рабочий нес невод, третий бичеву и корзину с припасами.

Когда все было готово, тронулись в путь по берегу к Зелени, где стояли лодки. Я шел с Гирсом, который, воодушеваясь прелестным тихим вечером и предстоящим удовольствием ночного бивуака „в пустыне“, был особенно в духе и болтал без умолку. Мы поотстали от прочих и когда подошли к берегу, рабочие возились уже около лодок, укладывали невод, прикрепляли бичеву и проч.

Гирс вдруг остановился.

— Послушайте, это что же такое. Или в этих лодках поедут рабочие.

— Мы все поедем в этих лодках, сказал я.

— Господа, пожалуйста, пожалуйста, кричал Линеv.

— Позвольте, позвольте, сказал Гирс, Александр Логинович, что же это такое.

— Отчего же, спросил Линеv, вы разве боитесь воды.

— Я не боюсь воды, но не желаю рисковать своею жизнью.

— Полноте ребячиться, Дмитрий Константинович. Да ведь одна такая лодка подымает девять человек, а нас семеро на две лодки.

Гирс сделал отрицательный жест.

— Если ваша жизнь вам не дорога, господа, то поезжайте, а я ценю дорого свою и потому отказываюсь.

— Да полноте...

— Послушайте, Дм. Конст., сказал я, ведь мы, во-первых, поедем около самого берега, где воды всего по-колeно, притом нос потащат на веревке; значит, опасности не может быть ни малейшей...

Я умолчал о том, как мы поедем обратно, а Гирсу не пришло в голову спросить об этом, но мои аргументы так на него подействовали, что он пошел к лодке. Линеv подал ему руку.

— Исторический момент, сказал я.

Гирс усмехнулся, шагнул в лодку, сел на корточки и уцепился за борта обеими руками.

— Господи, что это за скорлупка, даже дощечки нет, на которую бы можно было сесть.

Я и Гернет вошли вслед за ним. Линеv, сел в другую лодку с одним из рабочих, туда же взяли невод и всю посуду и припасы, двое других рабочих остались на берегу и взялись за бичеву.

— Трогай, скомандовал Линеv.

Вода зашумела, лодка закачалась и Гирс вскрикнул: ай-ай.

— Не бойтесь, не бойтесь, сказал Гернет, опрокинуться не можем.

Когда прошли Зелень, Линеv крикнул:

— Иваницкий, запевайте.

Я затянул прекрасную *Wanderlied*, Гернет аккомпанировал мне басом, через некоторое время пристал и Гирс. Он понемногу освоился со своим „опасным“ положением и когда мы прошли версты четыре и рабочие остановились, чтобы отдохнуть, он сказал:

— Это вовсе не так страшно, как мне показалось сначала. А каков вечер-то, господа.

Ночь была действительно волшебной, какие бывают и могут быть только на севере. Глубокое, чистое небо, с легким оранжевым оттенком на западе и серебристо-розовым на востоке, смотрелось в спокойную широкую реку; в нее же смотрелись и высокие обрывистые берега, поросшие большим сосновым лесом. Тишина кругом была невозмутимая.

— Эта глубокая тишина летних северных ночей есть ли достоинство их, или недостаток? спросил я. На юге, и чем дальше на юг, тем, конечно, резче, природа не молчит и ночью. Где-нибудь в Малороссии кричат ночные птицы, квакают лягушки, раздаются песни гуляющих дивчин и паробков; про жаркие страны и говорить нечего; там всю ночь, как рассказывают путешественники, и рев, и писк, и свист всевозможных зверей и птиц не умолкают ни на минуту. А здесь, посмотрите. Замолчите сами, закройте глаза и слушайте. Такое безмолвие, что даже как-то смутно становится на душе, а откройте глаза—этот ландшафт и освещение его таковы, что скорее напоминают роскошную декорацию какой-нибудь оперы или балета, чем живую природу...

— Да, да, совершенно верно ответил Гирс. Вот вы все это и изложите в стихах, что вы сейчас сказали.

— Все это уже давно замечено и изложено на разные манеры более или менее удачно.

— О природе средних губерний—так, но северных—я не знаю, или очень мало. Нет, это грех будет с вашей стороны, если вы не воспоете Сухону, как воспевают, например, немцы свои реки, свой Дунай и Рейн.

Вот вдаль показалась темная масса Дедова острова. Когда поравнялись с ним, шедшие с бичевой рабочие сели в лодки и мы переплыли на остров.

Лодки вытащили на берег. Нам троим, т. е. мне, Гернету и Гирсу, было поручено позаботиться о разведении огня, кипячении воды и проч., а Линева с тремя рабочими пошел по берегу острова по направлению к церкви, отыскивая место удобное для закидывания невода.

Мы натаскали хворосту, сучьев, приволокли несколько пней и развели большой огонь, Гернет установил треножник и повесил на него чайник. Гирс развалился на траве и мечтательно глядел в огонь.

Виден вздернутый на камни
Маленький челнок;
Лес молчит, в реку глядится,
Темен и глубок...

продекламировал я.

— Ну вот видите, воскликнул Гирс,—в этом духе и продолжайте. Со мной была, по обыкновению, моя собака. Она бежала по берегу, когда мы плыли, теперь переплыла к нам на остров, побежала в лес и подняла там неистовый лай.

— Это что, спросил Гирс,—не медведь же забрался на остров.

Мы с Гернетом вооружились палками и направились туда, откуда доносился лай Милорда. Вдруг из кустов вылетел Милорд, а за ним

черная корова. Мы замахали палками и угнали корову в лес, но только на минуту. Пять или шесть коров выскочили из лесу, и мотая головой и вытягивая хвост, погнались за собакой, которая с визгом неслась к нам.

Мы струсили, повернули и побежали к костру. Увидя огонь, коровы остановились. Гирс, следивший за этой сценой, выхватил из костра пылающую головню, смело побежал навстречу коровам и швырнул в одну из них головней. Головня попала животному в спину и осыпала его целым каскадом искр. Коровы повернули и бросились к лесу.

— Вот и приключение, сказал я, но приключение это вовсе не безопасно. Эти коровы живут здесь все лето на острове, почти не видят людей и поэтому одичали. Не будь огня, наше положение могло бы сделаться критическим: не оставалось бы ничего другого, как залезть по горло в воду.

— А если бы коровы пошли за нами в воду, спросил Гирс.

— Коровы недовольны не нами, а собакой.

Собака не пошла бы за нами в воду, они бы затоптали ее и ушли в лес.

Мы беседовали довольно долго, пока наши четверо рыболовов не вернулись, мокрые и прозябшие с неводом и пустой корзиной. Сколько раз они не заносили невода—хоть бы одна рыбка. Пришлось ограничиться чаем с кренделями и черным хлебом.

Между тем рассвело; с реки стал подыматься туман. Он постепенно сгушался и, наконец, застал все кругом непроницаемой пеленой.

— Неудобная штука, сказал я; надо будет связать наши лодки.

— Разве мы не подле берега поплывем, спросил Гирс.

— Вниз по реке нельзя идти подле берега при такой быстрине, живо налетишь на камень. Поплывем самой серединой.

— Послушайте, господа, взывал Гирс,—как же мы поместимся всемером... Пусть рабочие пешком идут...

— Пустое, сказал Линеv, мы свяжем лодки.

Лодки связали и мы разместились в них. В нашу лодку положили и невод; он был мокрый, был так тяжел, что край лодки отстоял всего на ладонь от поверхности воды. Линеv и трое рабочих подвыпили, это обстоятельство меня беспокоило более всего. Линеv беспрестанно ворочался и колебал свою лодку, а с нею и нашу. Гирс и я просили его сидеть смирно, но он не слушал. Наконец он вздумал перешагнуть к нам в лодку. Гернет, молчавший до сих пор, вдруг равкнул:

— Это что-же такое. Утопить нас хотите, что-ли... Николай Алекс., обратился он ко мне, держите к берегу.

— Не будете сидеть смирно, сию минуту ваш невод в воду, сказал я.

— Ну, ну, полноте, не потонем, все будем целы, ответил Линеv, садясь.

Берегов совершенно не было видно; под нами была черная крутящаяся вода, вокруг нас белая пелена тумана—и больше ничего.

— Ник. Алекс. Гернет, спросил Линеv,—отчего это бывает туман?

— От водки, сказал Гернет.

— Господи! Гернет—острит. Неужели Иваницкий и Гирс успели так скоро вас отточить.

— В самом деле, отчего? спросил Гирс.

— Физиологический туман—от водки, а физический оттого, что вода стала теплее воздуха, сказал я.

— Слушайте, Гернет, и учитесь, продолжал Линеv, вам не мешает поучиться. Вот уж два года вы только и делаете, что бьете баклуши...

Гирс полулежал на дне лодки и смотрел в воду.

— Вот, Дм. Конст., вы и освоились с Сухоной и с сухонским челноками, сказал я.

— Когда я садился в лодку, я был бодр и сыт, сказал Гирс, и весело смотрел на жизнь. Теперь я голоден и утомлен бессонницей и смотрю на жизнь несколько иначе.

— Значит, взгляд на жизнь находится в зависимости от полноты или пустоты желудка...

— Совершенно верно, воскликнул Линеv, Н. А. Гернет учитесь...

— Ваш желудок, видно, постоянно пуст, что вы постоянно легко смотрите на жизнь, сказал Гернет.

— Сам Бог не велел давеча рыбе идти к нам в сети, продолжал я. Если бы теперь в каждом из нас было по рыбе и по тарелке ухи, лодки наши сидели бы еще глубже.

— Да притом пустые желудки не дадут нам потонуть, как пузыри в рыбе, добавил Гирс.

— И пустые головы, подхватил Линеv. Дм. Конст. Гирс знает, что рыба не тонет, оттого, что в ней пузырь, Ник. Ал. Гернет это подтвердит, но подтвердит ли Н. А. Иваницкий—не знаю.

— Я вот знаю, что мы можем проплыть мимо города и этого не заметим...

— В самом деле, воскликнул Гирс.

— Не сделать ли так господа: высадимтесь у кладбища, пошлем на Зеленъ за рыбой и сварим уху.

— Гениальная мысль! Иваницкий всех нас моложе, а в нашей компании не поглупел.

Я стал поворачивать вправо, думая, что рабочий, сидящий в соседней лодке с кормовым веслом, сделает тоже, но он опоздал и вследствие этого веревка, связывавшая наши лодки лопнула; в ту же минуту мы потеряли друг друга в тумане.

— Господа, кричите, чтобы они на нас не налетели, сказал Гирс.

Я все держал к берегу. Через минуту в тумане смутно обрисовались вершины больших елей и восходящее солнце глянуло сквозь эти ветви огненным шаром без лучей.

Скоро мы подошли к кладбищу и высадились тут. Подошла и другая лодка. Снова развели огонь. Линеv съездил на Зеленъ, привез свежих стерлядей и уха закипела.

— С этого нам надо бы было начинать, заметил Гирс, заглядывая беспрестанно в котелок.

Я сидел у огня рядом с одним из рабочих, который подставил ногу очень близко к огню, почему кожу на голенище его сапога, промокшую насквозь, стянуло так, что он не мог скинуть сапога.

— Надо операцию сделать, сказал я, достал нож и разрезал голенище.

Бедняк чуть-ли не плакал: ему жаль было потерять сапог.

— Тебя как зовут, спросил я его.

— Александром.

— А фамилия?

— Ерехинский.

— Это твой отец живописец на заводе?

— Мой.

— Я уж давно собираюсь придти к вам в гости.

— Приходите, милости просим.

— Это где такая речка Медведка?

— За семь верст от завода.

— Послезавтра праздник, сходим на эту речку.

— Сходите; мне же надо вырубить вересину для колеса. А вам что-же на Медведке делать?

— Так, прогуляться; я слышал, там хорошее место.

— Глухое место.

— Тем лучше; так послезавтра я зайду за тобой.

Нахлебавшись ухи, мы вернулись в город и когда я лег на свой диван, мне долго представлялось, что диван покачивается, что кругом меня черная поверхность воды, по которой ходят вертуны, что одно неосторожное движение—и прощай белый свет.

Через день мы ходили с Александром на Медведку. Я зашел за ним в дом его отца. Старик живописец работал дома или по сельским церквям, расписывая иконостасы, жил без нужды, хотя и не богато. У него было несколько человек детей; Александр самый старший, уже женатый, работал на заводе. Живописец не только охотно согласился посвятить меня во все тайны своего искусства, но даже очень обрадовался этому случаю, предложил ходить к нему и учиться, кисти его и краски к моим услугам.

Дорога или вернее тропа на речку Медведку идет большим, дремучим лесом. Семь верст расстояния—определение приблизительное, по моему, мы прошли добрый десяток верст, пока достигли берегов темной лесной речки. Оба утомленные жарой, мы легли на берегу, свесив голову к воде и ели черный хлеб, макая его в речку и посыпая солью. Редко приходилось мне завтракать с таким аппетитом, удобством и непринужденностью. Как часто впоследствии, сидя где-нибудь в богатом доме за роскошным завтраком, я вспоминал речку Медведку и приятеля моего Александра и вкусную краюшку черного хлеба, обмоченную в свежую воду и, конечно, охотно отдал бы все стоящие передо мною жирные яства за эту краюшку, а всех сидящих со мной вытянутых кукол за доброго Сашку.

Затем Александр принялся вырубать себе можжевеловые кряжики, а я тем временем сидел на берегу речки, умывался и наслаждался окружающей меня девственной глушью.

Кончив свою работу и бросив оболваненные деревца на землю, Александр сел рядом со мной, достал из мешка новую краюшку и, подавая мне сказал: кушайте-ка.

Я прислонился головой к его колену и стал есть хлеб.

Он взглянул на меня и сказал:

— Какие вы все добрые, вот и Александр Логинович, и Николай Александрович, и вы, и этот, не знаю, как его звать, в красном-то галстуке.

— Гирс.

— Ну, Гирс.

— Мы не то что добрые, а знаем, кто мы такие.

— Да ведь вы—господа.

— Что это значит: господа.

— Дворяне.

— Дворяне-ли, крестьяне-ли, это все равно, а знаем, что мы люди, потому и кажемся добрыми.

— Вот вы со своим братом, господами, совсем не такие, как с нами.

— Как это так? Ты почему знаешь?

— Вон как у Кокоревых на Святой были гости, я долго стоял в прихожей и смотрел как вы это веселились, да плясали. Я вас тогда в первый раз видел. Вы этак ходили важно и плясали этак чинно и не рассмеетесь ни разу. А как сидели у двери и барышня-то подошла к вам и вас танцевать звала, вы только этак головой мотнули, да сказали: извините, а она и отъехала, как не солоно хлебавши. Я тогда близко за вами стоял. Ведь вот здесь-то вы совсем по другому и хлеб от меня берете и смеетесь.

— Ведь у Кокоревых в комнатах и здесь в лесу—разница большая Александр. И барышня эта, что меня плясать звала и ты—разница еще больше. Там я шагу ступить не могу так, как хочется, а здесь могу, потому что здесь меня не осудят. И барышня эта и ты—это как небо от земли. Она что ни скажет—все соврет, она слушает меня, а сама думает: нельзя ли мне за него замуж. В ней нет ведь ничего живого, ничего своего, у ней ведь и глаза и зубы вставлены и волосы чужие. Она ведь вовсе не человек, а кукла. С ней ведь нельзя и по человечески говорить—не поймет и обидится. А если с ними не держать себя важно—сейчас на шею сядут, тогда уж, брат, пиши пропало.

Александр сам смеялся от всего сердца.

— Так нешто мужики или девки деревенские лучше этаких господ.

— Да не то, что лучше, а их и сравнивать нельзя, все равно, как нельзя сравнивать вот твою собаку Лапиху с деревом. Что лучше: Лапиха, или дерево. На это нельзя и ответить. Тебя можно сравнивать

с другим мужиком и сказать: который из вас лучше, девку можно с девкой сравнивать, а девку с деревом—нельзя. Ты меня понимаешь.

— Да я понимаю, что вы над ними смеетесь.

Мы еще прошли с версту вверх по речке, нарвали цветов и весело болтая, вернулись домой.

Читателю покажутся, вероятно, мало интересными, как через-чур мелочные, подобные эпизоды, но я заносу их в свои записки потому, что они оказывали свое влияние на мою нравственную сторону, и большое влияние. Как увидят далее, я долго метался, так сказать, между городом и лесом, пока, наконец, последний не поборол — Ну, что такое Медведка и сотни других рек и речек? Лесная глушь, где жить и наслаждаться жизнью могут одни звери. Разве *тут* место человека? Разве правы были люди, уходившие в леса, строившие себе кельи и жившие тут в обществе медведей, лисиц, росомах и лосей? Со стороны мыслящего, худо-ли хорошо-ли образованного человека разве не будет преступлением уйти в лес и поселиться тут. Разве этот человек не *обязан* жить в обществе себе подобных и трудиться для блага этих своих ближайших не покладая рук.

Можно наговорить еще много прекрасных фраз об обязанностях человека относительно своих ближних, но я воздержусь. Я сказал выше, что долго метался между городом и лесом. Уйдешь в город и прекрасные фразы так и нападут, как лесные мухи, сколько от них не отмахивайся, так и лезут. И до того нажужжат в уши, что опять побежишь в лес. Фразы вообще имеют громадное влияние на жизнь человека и часто он падает жертвою фраз, это между прочим.

Вопрос, наконец, решился, как я сказал, в пользу Медведки.

В первое мое пребывание в Тотьме я не воспользовался однако готовностью старика Ерехинского помочь мне учиться рисовать масляными красками; я принялся за это уже во второй период, о котором речь впереди. Но я нередко заходил к этим добрым людям, пил у них чай и даже не раз ночевал на чердаке у Александра, где было прохладно и комары и мухи не тревожили, часто хаживал с Александром в лес и ездил на рыбную ловлю.

В это лето 1869 г. Шевякова приезжала в Тотьму с фотографией и прожила тут месяца полтора. С ней приехал Петр Дубровский в должности помощника и Вера Михайловна Смекалова в должности спутницы.

Мы с Гернетом и Гирсом снялись у Шевяковой группой и, кроме того, отдельно. Группа эта у меня сохранилась, равно как и две карточки Гирса. На одной он представлен стоящим во весь рост с кепи под мышкой и со страдальческой миной на лице, карточка на которую я не могу смотреть без улыбки. Надо сказать, что Гирс только до того получил из Петербурга лаковые гамаши, которые оказались ему тесны. Он кое-как натянул их, но когда пришел в фотографию, ноги у него до того занули, что он ушел в темную комнату, где Дубровский „проявлял“ негативы, скинул гамаши и долго сидел, потирая ноги и ворча сквозь слезы. Он едва выстоял минуту перед аппаратом, а домой дотащился опираясь мне на плечо, беспрестанно останавливаясь и поджимая то одну, то другую ногу.

Этим летом, одним из лучших лет моей жизни, я проводил целые дни, а иногда и целые ночи на Сухоне, то один, то в компании с кемнибудь. Я настолько освоился с управлением лодкой, и мускульная сила настолько возросла во мне, что сплавать на Дедов остров, или на Леденгу, вниз на веслах, а вверх на шесте, для меня ровно ничего не значило.

Из любимых моих мест в окрестностях Тотмы любимейшим было устье реки Леденги. Сюда мы не раз езжали вдвоем с Николаем Пыхоловым, задумчивым мальчиком с большими темными глазами. Здесь мы гуляли в долине, карабкались на горы и, если было жарко, раздевались и ложились на дно речки, предоставляя воде обмывать и охлаждать нас. Так как не представлялось опасности встретиться в этих местах с барышнями, то мы, выйдя из речки, так и гуляли нагишом по берегу, подымались по тропинке на гребень, отделяющий леденгские озера от Сухоны, выходили на самую Сухону и раз удивили до крайности и даже напугали, проезжавших в лодке по Сухоне, баб.

Платье наше мы оставляли на берегу речки и если бы кто унес его, наше положение стало бы весьма плачевным.

Воспоминания об этих шалостях напомнили мне случай, рассказанный Гернетом.

Как-то ночью он возвращался домой из гостей и, пройдя по мосту через овраг, что у Полицейского Управления, взглянул налево по направлению набережной оврага и увидел среди дороги какой-то небольшой белый предмет довольно странной формы.

— Я сперва подумал, что это корова или лошадь, но предмет был слишком высок для коровы и притом покачивался из стороны в сторону. Так как я предположить даже не мог, чтобы это могло быть, то меня взял страх. Но любопытство превозмогло и я стал шаг за шагом подвигаться к странному предмету. Он продолжал покачиваться, стоя среди улицы и по временам испускал неопределенные глухие звуки, не то вой, не то мычание.

Подошел еще ближе и вижу—голые человеческие ноги, тогда как верхняя половина тела закутана во что-то белое.

— Кто такой, крикнул я.

Предмет вдруг заметался, закричал, двинулся по направлению к воротам дома, от которого он стоял шагах в десяти, ударился в ворота и отшатнулся. Я подошел еще ближе и что-же? Это была женщина, платье и юбка или рубашка которой были подняты вверх, завязаны над головой полотенцем, а в узел просунута большая жердь.

Несчастная, очевидно, жертва злой шутки, напрасно пыталась отыскать калитку и когда наконец ощупала ее и отворила ногой, то не могла пройти, потому что жердь стала поперек калитки.

Тогда я подошел к женщине и развязал узел. Когда одежда упала вниз, женщина закрыла лицо руками и бросилась в калитку.

Потом оказалось, что это была девушка, которая имела любовника, и этот, из мести за какую-то обиду, стащил ночью свою возлюбленную в овраг и там завязал ей над головой платье и просунул в узел жердь, а сам убежал.

Характерная черта из нравов уездного городишка.

Х. „Женский вопрос“ в Тотьме. Побег ссыльных.

Лето прошло незаметно. Наступила осень, а с нею начались и вечера и любительские спектакли. Сцена устроена была в клубе, помещавшемся в каменном Кокоревском доме. Спектакли давались часто и сходили очень даже недурно. Некоторые из любителей отличались положительными талантами. Ставились исключительно комедии и водевили. В эту зиму я не решался выступить на сцену, или вернее, не заявлял о своем желании играть, а любители сами не предлагали, так как и без меня желающих играть было много, да для меня и выгоднее было заниматься перепиской ролей и суфлировать, чем играть на сцене и так это давало мне недурной заработок.

У Чаплицкой я бывал часто, еще чаще у Кассацких. Целые вечера напролет мы беседовали с Лидией: разбирался со всех сторон по большей части один вопрос о самостоятельности и о том, „что делать“, когда эта самостоятельность завоюется тем или другим способом.

Лидия окончила курс в вологодской гимназии чуть ли не первой ученицей, но на поверку оказалось, что познания ее весьма ограничены. Поэтому я советовал ей прежде всего заняться с азов, так же, как занимался я сам. Лидия благоразумно последовала моему совету и принялась повторять основательно весь гимназический курс. Я следил за ее успехами, делая ей беспрестанно устные экзамены, причем не обходилось без нотаций и выговоров с моей стороны. И если я относился к ней страшно строго, так что она много раз возражала довольно запальчиво на мою неумеренную по ее словам требовательность, то, я думаю, впоследствии достаточно оценила всю необходимость этой строгости.

Что отец Лидии был человек нечестный, это она отлично знала и потому уважения к своему папеньке питать не могла. При том он был деспот. Отпустить Лидишку добровольно в Петербург, напр. для того, чтобы учиться, хотя за средствами для этого дело и не стало бы, он, разумеется, не соглашался. Почему—и сам, конечно, не мог объяснить, только ни в каком случае не соглашался. Надо было, значит, добиться этого отпуска „сценами“, или хитростью. Но сценами Лидинкина папашу трудно было пронять. Выведенный из терпенья, он, вероятно, схватил бы Лидишку за косу и запер бы ее в чулан „до вытрезвления“. Стало быть оставалось одно средство—хитрость. Я советовал Лидии притвориться больной и добиться отпуска в Петербург для излечения.

Притворство—это область, в которой женщины царят самодержавно. Упражняясь в искусстве притворяться можно сказать с пеленок, они достигли изумительных результатов. Оттого-то было и есть немало истинно великих актрис—женщин, замечу еще в скобках. Но в Лидии способность притворяться была развита сравнительно не сильно. Это раз. Второе, она была, до того очевидно здорова, что назваться больной—значило насмешить всю Тотьму. Толстая, сильная девушка с великолепным аппетитом и богатырским сном и вдруг—больная. Можно было уверить в этом какнибудь человека постороннего, а уж не отца, который каждый день видел *как* его дочь кушала, как она толстела, знал, по сколько часов она спала.

Но другого средства, как притвориться больной, все-таки не оставалось и, для большего успеха атаки порешено было посвятить во все тайны и пригласить на помощь доктора, вернее—земского врача Бонкер, человека неглупого и покладливого, притом еврея.

Бонкер повел дело весьма издалека и вел его чрезвычайно постепенно, искусно и замечательно последовательно.

Как домашний доктор Кассацких, Бонкер бывал у них ежедневно. Прежде всего он стал заводить речь на тему о болезненности современной молодежи. Кассацкий привык сперва к мысли, что современная молодежь вообще довольно хрупка.

— Хотя на вид и кажется здоровой, прибавляет Бонкер через неделю, и Кассацкий осваивается с мыслью, что современная молодежь хрупка, хотя на вид и кажется здоровой.

— Толщина вовсе не есть несомненный признак здоровья, провозглашает Бонкер и подкрепляет эту истину цитатами и примерами людей толстых и на вид здоровых, а между тем битком набитых разными недугами.

И с этим Кассацкий осваивается.

Некоторое время спустя, как то за обедом Бонкер замечает, что Лидия Владиславовна сегодня что-то бледна и прибавляет: вы вообще бледны, по вашей комплекции судя, на щеках ваших должны бы были цвести розы, между тем, у вас нет и признака румянца.

Лидия смеется и говорит, что она совершенно здорова.

Бонкер сейчас же оставляет этот разговор, но все замечают, что Кассацкий очень внимательно посмотрел на дочь. Значит клюнуло.

Еще спустя несколько времени, Лидия, за обедом же, кашлянула.

— Это что значит? спрашивает доктор. Нам, худеньким людям как будто уж и следует кашлять, а вам грех.

— Уж и кашлянуть нельзя, говорит Лидия.

Тут неожиданно дело подвигает значительно вперед мамаша.

— Я слышала, ты утром сегодня, не раз кашляла.

— Может быть, говорит Лидия равнодушно.

— Этим, однако, пренебрегать не следует, замечает доктор и затем переменяет разговор.

Через неделю доктор за обедом усиленно кашляет.

— Что это вы, доктор, спрашивает папаша,—разве доктору можно кашлять?

— Нет, ничего, это пустяки, отвечает доктор и обращается к Лидии: а вы, барышня, не кашляете больше?

— Нет, говорит Лидия и задает какой-то посторонний вопрос, до того посторонний, что и папаша замечает умышленность придуманного вопроса с целью переменить разговор и окончательно попадает на крючок.

— Ты что все нет, да нет. Вы, доктор, приструньте ее хорошенько, выслушайте, если нужно. Они, барышни, часто из стыдливости скрывают свои болезни.

— Можно выслушать, говорит доктор равнодушно и прибавляет:

— Время то теперь такое, что у всех кашель или насморк.

Таким образом дело доводят до того, что Лидия дала себя выслушать доктору уже по строжайшему приказанию папаши и папаша видимо озабоченный, ждал, что скажет доктор.

— Ничего серьезного, говорит доктор; маленькие хрипы в верхних долях. Пропишу микстурку. А вы все-таки посидите денька два дома.

Я с своей стороны, строчу Лидию каждый день.

— Да кушайте вы, христа ради, поменьше. Или, по крайней мере, ешьте больше говядины и как можно меньше мучного и сахара. Делайте каждый день гимнастику, а то вы все-таки толстеете, это ни на что не похоже. Ведь вы спите после обеда?

— Иногда сплю.

— Не иногда, а всегда, это чорт знает что такое.

— Вовсе не всегда, а только лишь когда накануне бываю в гостях и сижу до рассвета.

— Разве вы вчера были в гостях. Между тем, посмотрите, левая щека у вас вся в складках.

— Что за пустяки, говорит Лидия, и подходит к зеркалу.

— Позовите Минодору, она расправит вам их...

— Послушайте, Ник. Алекс., вы начинаете мне говорить дерзости.

— Да как же не говорить, когда вы так непоследовательны. Завтра доктор должен открыть у вас хрипы и в нижних долях легких, между тем вы съедаете каждый день по десяти ватрушек.

— Перестаньте сочинять.

— С творогом.

— Не стану спать после обеда.

— Еще бы. А то подбородок будет еще более блестеть. Вообще спать после обеда — это мерзость, а тем более мне и вам и нам подобным.

Лавров знал о нашем разговоре и в свою очередь писал советы и наставления. Как то все три барышни, т. е. Кассацкая, Куприянова и Малевинская обратились к нему через меня с просьбой дать указания: что делать женщине. Лавров ответил пространным письмом. К несчастью письмо это теперь не существует, и я не привожу его здесь потому, что оно не осталось у меня в памяти. Меня только насмешило одно указание при перечислении занятий „новых“ женщин: „шитье шляп и чепчиков“. Даже деревянный Гернет—и тот ухмылялся над этим пунктом.

Однако проект Лидии о переселении в Петербург осуществился только в 1872 году.

Пока я возился с Лидией, Чаплицкая в свою очередь обдумывала смелый план—бегства из Тотьмы. В ее намерения были посвящены только двое—брат ее, Модзалевский и Лавров. Как выяснилось впоследствии, Чаплицкая условилась с Лавровым бежать, но не вместе, а отдельно—она сперва (дамам преимущество), а он вскоре за нею и встретиться в Париже.

Я ожидал, что готовилось нечто, да и нельзя было не подозревать, особенно относительно Лаврова. Он жил зимою 1869-70 г. в Кадникове и писал мне оттуда с каждым верным попутчиком. Как то он обратился ко мне с просьбой написать ему и послать через полицию письмо в таком смысле: желаю-де заняться антропологией и прошу выслать мне сочинения по этому отделу. Я так и сделал.

Вскоре меня пригласили в Полицейское Управление, где я застал исправника и его помощника. Среди Присутствия стоял на полу большой ящик, уже раскупоренный, набитый книгами.

— Ну, батенька, задали вы с Лавровым нам работу, воскликнул Алексеев. Посмотрите, что вам послано. И все не русские книги.

— Что же, Ефрем Иванович, я надеюсь, вы не нашли, между книгами „неподходящих“, вот разве между листами что не вложено ли?

— Да, да, смейтесь, знаю я вас. Станете вы вкладывать между листами. У вас есть сто путей гораздо более верных, чтобы сноситься друг с другом... Отлично знаю и ничего не могу поделать. Рукой махнул. Но, послушайте, однако, Ник. Алекс., мне совершенно некогда перелистывать эти книги. Можете вы меня заверить честным словом, что тут не вложено писем?

— Заверить не могу, но думаю, что Петр Лаврович не будет так неосторожен, чтобы вложить письмо в книги, посылаемые через полицию.

— А куда же он его вложит?

— В конверт, и пошлет по почте.

— Я знаю, что у них идет самая деятельная переписка, обратился он к помощнику, но какими путями—не знаю.

Помощник усмехнулся.

— Ну, уж если вы попадетесь, продолжал Алексеев.

— Зачем же попадаться, Ефрем Иванович?

Алексеев позвал полицейского и велел ему отнести ящик с книгами ко мне на квартиру.

Вскоре я получил письмо от Лаврова: вы, я думаю удивились, получивши массу книг, писал он, и не знаете, куда с ней деваться. Не удивляйтесь ничему. Похраните книги у себя, пока я не напишу, что с ними делать.

Такую же коллекцию книг получил по почте Гернет, да с попутчиками еще один ящик. Мы не смели удивляться и молчали, ожидая, что будет дальше.

Чаплицкая, между тем, еще осенью подала прошение о переводе ее в одну из средних губерний, жалуясь на суровый тотемский климат, который расстроил ее здоровье. Ей была назначена местом жительства Пенза.

Анна Павловна радовалась, повидимому, предстоящему отъезду и ради перемены, страшно наскучившей ей, однообразной тотемской жизни, и тому, что климат Пензы теплее тотемского. Зная, что в Пензе ей никогда не бывать, она тем не менее, для отвода глаз, интересовалась ею в высшей степени, собирала где и от кого могла сведения о Пензе и слова: „пензинска губерня“ не сходили с ее уст.

Получив бумагу, разрешающую ей перевод, она подала другое прошение, в котором заявляла, что средств ехать с жандармами у нее нет и просила отпустить ее одну.

И это ей разрешили. Тогда она собралась в дорогу, со слезами простилась со всеми нами и отправилась в Вологду. Это было в январе 1870 г. Здесь она, под предлогом болезни, прожила с неделю, распродала все лишнее, достала заграничный паспорт и затем из Вологды отправилась не на Москву, а в Петербург и через несколько дней очутилась в Париже. Пензенская администрация, уведомленная о том, что под ее надзор прибудет из Вологды важная государственная преступница, прождала эту преступницу до июня и в июне обратилась в Вологду с запросом: выехала ли Чаплицкая из Вологды. Выехала в январе, ответил губернатор.—Где же она? Хвать-похвать, а „преступница“ уже успела обжиться в Париже и открыла там мастерскую каких-то „необходимых и полезных изящных вещей“.

Лавров жил в Кадникове так же, как и в Тотьме, со своей старушкой матерью, сидел целые дни дома за книгами, а вечерами или посещал знакомых или принимал их у себя. Но в половине февраля он казался больным, перестал выходить из дому и к себе пускал только самых близких людей, принимая их в постели.

Не помню которого именно февраля во вторник он уехал, а в субботу мать его (получивши известие, что сын уже находится в безопасности) заявила полиции об исчезновении ее сына.

Поднялась страшная кутерьма. В Кадников немедленно нагрянула следственная комиссия. Первым делом за старуху: как, когда?—Старуха отвечает, уехал во вторник утром. Я еще спала, ничего не видела и не слышала. Думала, что отправился в Вологду, так как ездил туда не раз (Вологда от Кадникова в 40 вер.), но вот пришла суббота, его все нет, я и заявила.

В доме жила единственная прислуга—молодая горничная.—Говори, каналья, ты все должна знать! Горничная разумеется в слезы.

— Только и знаю, что барин был болен, лежал у себя в кабинете, кушать ему туда подавала барыня, а как уехали, с кем, на каких лошадях—не знаю.—Ее пугали и розгами и Сибирью—ничего не могли добиться. Затем допросили кучу народа: всех соседей, смотрителей почтовых станций, ямщиков,—никто ничего не знает и не слышал.

Когда вошли в кабинет, оказалось, что библиотеки уже нет, в углу свалена лишь куча старых газет и брошюр, гардероб пуст, письменный стол—тоже; словом и вещи все исчезли, и описывать нечего.

Жандармский полковник фон-Мерклин рассказывал об этом деле следующее:

— „Подобного побега, подобной ловко задуманной и исполненной штуки я не видывал. Кадниковские жандармы донесли мне, что Лавров отправил по почте ящик с книгами, затем другой и третий, наконец ящик с платьем. Я заподозрил, что дело не ладно; книги еще ничего, но уж если отправить платье, то, вероятно, скоро отправится и сам. Доношу об этом. Велят усилить надзор. Я предписываю жандармам по очереди дежурить всю ночь у квартиры Лаврова. Они, конечно, дежурят и, после побега, заявляют, что по ночам в неделю побега они

видели, что Лавров ходил взад и вперед по кабинету: лампа стояла у него среди комнаты и тень его двигалась по шторам. Никто к нему в ночь на вторник, ни во вторник утром не приезжал, вообще ничего особенного в это время не произошло, и как он исчез—они не знают. Что он уехал на лошадях—это несомненно, но на каких и с кем—этого невозможно было узнать, несмотря на самое строжайшее расследование“.

Лавров действительно уехал на лошадях в Вологду и по дороге обогнал как самого Мерклина, так и тотемского исправника Алексева, они его видели, но не узнали, что весьма натурально, потому что Лавров, носивший целую гриву на голове, большую бороду и усы, за несколько дней до отъезда остригся под гребенку и сбрил бороду и усы, так что стал неузнаваем. Из Вологды он проехал в Петербург, прожил там несколько дней с детьми, устроил свои дела и укатил в Париж.

Я подозревал, что Лавров хочет бежать, но когда и куда—это было мне совершенно неизвестно. В день побега исправник Алексеев уехал из Кадникова в Вологду. Вернувшись в Тотму, он на другое утро послал за мной полицейского. Ничего не подозревая, а только удивляясь раннему часу приглашения, я пришел к Алексееву на квартиру. Тут был помощник исправника Готовцев и секретарь полицейского управления, приглашенные, как оказалось, в виде ассистентов при допросе.

Когда я вошел, Алексеев стоял среди залы, помощник сидел у окна, секретарь стоял около двери.

— Здравствуйте, сказал Алексеев, протягивая мне руку и устремив на меня пронизательный взгляд, от которого, я однако нимало не смутился. Здоровы ли вы?

— Благодарю вас, я здоров.

— А вот я сегодня ночью приехал из Вологды.

— Очень приятно слышать.

— Был и в Кадникове и виделся там с Петром Лавровичем Лавровым. Он вам кланяется.

Новый пронзительный взгляд.

— Очень благодарен. Поправился ли он, я слышал он был нездоров.

— О, совершенно поправился!

Заложив руки за спину, стоит против меня и смотрит в упор.

Я все-таки не смущаюсь, а думаю только: что с ним такое?

— Так вы не знаете, что он бежал?

— Бежал?! Нет, не знаю.

Алексеев вдруг сорвался и забежал по комнате в волнении.

— Да, бежал, бежал. Теперь весь Кадников на ногах. Но его найдут, найдут, это дудки. Его найдут голубчика, тогда ему не миновать Сибиря!

Затем он подошел ко мне и снова уставился на меня.

Я усмехнулся.

— Право, Ефрем Иванович, вы так на меня смотрите, как будто помогал Лаврову бежать.

— А кто вас знает?

я — Думайте, как угодно.

— Нет, вы представьте себе: когда Лавров жил здесь, он раз уехал за город довольно далеко. Я промолчал. Другой раз уехал. Я должен был заметить ему, что уезжать из города нельзя. Лавров расхохотался, взял меня за обе руки и воскликнул: любезнейший Ефрем Иванович, неужели же вы думаете, что я убегу?.. А вот теперь не угодно ли... Но нет, его схватят, да уж наверное и схватили.— Ну-с, прибавил он помолчав, я только и хотел сообщить вам эту новость.— Так это для вас новость?

— Совершенная новость.

— Честь имею кланяться.

Я простился со всеми и вышел.

Потом Готовцев передал мне:

— Когда вы вышли, Алексеев сказал: „Нет, видно, что он действительно ничего не знает“.

XI. Последнее время в Тотьме. Отъезд.

Побег Чаплицкой, Лаврова и потом Сажина из Вологды не отозвался на нас, сосланных, никакими особенными прижимками, как мы было этого ожидали. Правда, нас более обязали подпиской являться ежедневно в полицейское управление с тем, чтобы расписываться в книге, но никто, разумеется, не пошел, а полиция более не настаивала. Даже, напротив, после названных побегов стали скорее удовлетворять просьбы ссыльных о переводах в другие города.

Линеvu только пришлось плохо. Исправник Алексеев написал донос, обвиняя Линева в агитации среди рабочих завода и вообще в дурном влиянии на них и Линева перевели в Никольск. Впрочем отсюда его скоро перевели в Новгородскую губернию, где он пробыл почти неделю и, как я слышал, бежал за границу. Линева все любили и уважали, совершенно основательно, конечно, и к поступку Алексеева отнеслись с негодованием. Негодование это выразилось в том, что Алексева окончательно перестали принимать и кроме полицейского управления он не знал, наконец, никакого выхода. Весною 1870 г. после того, как один из „гражданских“ ссыльных отхлестал его на улице по физиономии резиновой калошей, Алексева куда-то перевели, а на его место назначили Красикова.

Это был человек совершенно противоположных качеств, добрый и чрезвычайно миролюбивый. При нем все поистине отдохнуло, Красиков старался объединить, сблизить расстроенное Алексеевым общество, он был душою всяких увеселений, загородных прогулок, спектаклей. Но лучшая его заслуга та, что он вычистил Тотьму. Болота среди улицы, ямы, вековые кучи мусору исчезли, насажены бульвары; пустыри превратились в скверы, словом через несколько лет Тотьма стала неузнаваема.

Зимой 1870 г. Гирс по своей просьбе был переведен в Арзамас. Здесь он прожил недолго, вернулся в Петербург и женился на своем совершенстве.

Гернет тоже стал хлопотать о переводе и ему был таковой обещан в непродолжительном времени. Освобождены оба ксендза—Рокоцинский и Ходорович; а Короваям разрешено поселиться в Варшаве.

Я не подавал никаких прошений и не хлопотал ни о чем, не смотря на все настояния матери просить если не о возвращении в Петербург „к мамочке“, то, по крайней мере, в Вологду. Я отвечал матери: в Петербург мне возвращаться незачем, а если выбирать между Вологдой и Тотьмой, то я выбрал бы Тотьму, просить же об освобождении меня из под надзора, а тем более просить „прощения“ никогда не буду, ибо решительно не знаю за собой никакой вины.

Финансовые мои обстоятельства были теперь довольно сносны. Кроме 6 р. казенного пособия, я получал рублей 10 со спектаклей (за суфлерство и переписку ролей), да 10 р. за уроки с сыном сосланного Меригеровского, так что за оплатой всех необходимых жизненных потребностей, я мог обзавестись и платьем и даже выписать себе кое-какие книги и вещи.

Наступила весна 1870 г. Я порешил эту весною и предстоящим летом заняться серьезно коллектированием насекомых. И предыдущим летом я собирал жуков, но не особенно деятельно, теперь же рассчитывал составить основательную коллекцию. Маленький микроскоп (с увелич. в 50 раз) послал мне в подарок Павлов, я мог пользоваться им как лупой при занятиях. Прекрасный аквариум был у меня установлен еще осенью. В числе его обитателей особенно интересны были миноги, которые оказались вовсе не редкими в речках около Тотьмы. Кроме того я держал у себя (и приручил) лесных ящериц (*Lacerta agilis*) и сделал много интересных наблюдений над их образом жизни.

Теперь к весне я заготовил ящики с пробками, булавки, сачек для ловли жуков, расправилки и проч. Как только за городом стали образовываться проталины, я начал делать экскурсии, рылся в земле, разворачивал пни, отдирав кору на деревьях и доставал спящих насекомых, но гораздо действительнее и плодотворнее оказался следующий способ: я брал из под деревьев и кустарников пласт замерзших листьев и притащив его домой, клал в большую стеклянную банку и ставил эту банку на солнце. Листья оттаивали и спрятавшиеся под ними и спавшие зиму насекомые, выползали и ползли и летали поверх листьев. И чего и кого тут только не было! Бывало так, что один комок смерзшихся листьев давал работу на целый день. Рекомендую этот способ всем энтомологам, которые его не практиковали. Достоинство его заключается, как я убедился, преимущественно в том, что при этом попадает в руки множество мелких насекомых, которых уже не встретите летом, когда они разбегутся и разлетятся на все четыре стороны, притом в весенние, прохладные дни легче заниматься кропотливой работой с разной мелочью (вообще менее и исследованной), чем в жаркие летние дни, когда уж и энергия упадает вследствие высокой температуры и когда насекомых попадает уже слишком много, наконец, когда отвлекают и прогулки (а нельзя же не выходить летом только для того, чтобы погулять или покататься,

не обращая уже почти внимания на насекомых). Хорошо также, когда листья уже оттаяли и немного просохли, положить горсть их на лист чистой бумаги и шевелить их потихоньку руками или встряхивать, жучки скатываются с листьев и только успевайте их подбирать.

Таким образом к началу лета у меня уже составила замечательная коллекция мелких жуков и полужесткокрылых; так как насаживать их на булавки было невозможно, то я, продержав их некоторое время в спирту, наклеивал гуммиарабиком на крошечные бумажные треугольнички, а треугольнички уже протыкал булавкою и ставил в ящик. Для того, чтобы не спутаться в массе насекомых и не препарировать по несколько экземпляров одного и того же вида, я делал с насекомых рисунки красками в сильно увеличенном (в 50 раз) виде. Таких рисунков у меня составилась целый альбом. К сожалению, для определения жуков у меня был один Кальвер, потому большинство видов оставалось без названий под одними номерами. Но я рассчитывал послать свою коллекцию осенью в энтомологическое общество на просмотр специалистам.

В конце июня совершенно неожиданно пришла бумага о переводе моем в Вологду. Это было после полудня; я сидел дома и занимался, как вдруг явилась Анна Павловна Кокорева вместе с племянницей. Я был в ситцевой рубашке и побежал было в другую комнату, чтобы накинуть сюртук, но Анна Павловна не допустила до этого.

— Пожалуйста оставайтесь в чем вы есть, что за церемонии такие. Принимаем же мы мужчин в капотах, так и вы можете принимать нас в рубашках.

Она села на диван и сообщила, что приехала ко мне с целью сказать радостную весть. Сию минуту она случайно узнала, что получена бумага о переводе моем в Вологду.

Но на меня это известие вовсе не произвело радостного впечатления, как рассчитывала Анна Павловна, а смешанное. Мне жаль было покинуть Тотьму, к которой я привык, где мне жилось недурно, но вместе я не прочь был и вернуться в Вологду, если слово *вернуться* уместно.

Как бы там ни было, ехать было надо и я скоро собрался в дорогу.

Обойдя всех знакомых в городе, я сходил и на завод к Кокоревым, зашел и к Ерехинским. Старик живописец ужасно заволновался. Он хотел непременно подарить мне что-нибудь на память и подарил образок своей работы. Александр же, скучавший и по Линева, как и все заводские рабочие, заплакал прощаясь со мной. Он проводил меня до города и сказал на прощанье:

— Ну, все хорошие люди уехали, больше как пить ничего не остается.

XII. Вологодские мытарства. Освобождение. Опять в Тотьму.

За проезд в Вологду с полицейским я должен был опять заплатить 17 руб., так что по приезде в Вологду у меня не было ни гроша денег в кармане, да 10 руб. долгу.

Явившись в полицейское управление „по начальству“, я отправился, прежде всего, к Дубровским, которые и предложили мне занять

у них комнату. На это я, разумеется, согласился с удовольствием и перетащил сейчас же свои вещи, оставленные в полиции.

Саша числился уже учеником на телеграфной станции и ходил практиковаться в работе на аппарате. Вскоре ему предстояло сдать экзамен и затем он должен был получить место телеграфиста.

При первом же свидании с Н. М. Каскевич, она предложила мне возобновить занятия с ее детьми. Вера Мих. встретила меня дружелюбно и не вспомнила о поездке своей на поклонение мощам Феодосия Тотемского.

На другой же день по приезде, я отправился навестить П. И. Проневского, который незадолго до того был переведен в Вологду на ту же должность лесничего.

Он очень обрадовался, увидев меня и объявил, что я приехал весьма кстати: у него есть мне два предложения. Первое—давать уроки его сыну Пете, второе—привести в порядок дела в его канцелярии.

На первое я согласился, а относительно второго высказал свое удивление, как Петр Иванович мог предложить мне подобную вещь, так как ему отлично известно, что я в канцелярских делах вообще, а в делах лесничества в особенности, ровно ничего не разумею.

— Да тут нечего и разуметь, воскликнул Петр Иванович с свойственной ему восхитительной наивностью; вы просто пересмотрите все бумаги, поступившие в канцелярию за последнее время и сделаете отметки: которую „принять к сведению“, которую оставить без внимания, на которую ответить можно в отдаленном будущем, на которую ответить требуется немедленно. Последние-то мне только и нужны. Я их прочту и отвечу *что-нибудь*. У меня там сидит мальчишка для виду. Нельзя же, чтобы в канцелярии никого не было: когда пакеты принесут, он примет, когда мужики придут, он их выгонит, ну, словом, без человека нельзя. А чего вы там не разберете, Митька вам растолкует, он шустрый мальчишка.

Я еще раз попробовал отговориться.

— Нет, нет, ради бога, не откажите. Назначьте себе гонорар за труд; я не хочу даром пользоваться вашим трудом, само собою разумеется, только ради бога не отказывайтесь. Я бы сам занялся, да буквально нет минуты свободного времени. Я пишу повесть, и—какую повесть, батенька. Я вам потом ее прочту. Между тем Митька говорит, что там лежат несколько „подтверждений“ из Департамента, на них требуется во что бы то ни стало ответить.

Жалко мне стало старика. Уж очень он был прост и добр. Отправился в канцелярию и принялся рыться в бумагах. Какой царил хаос в этих бумагах и во всей канцелярии, это и вообразить себе трудно. Будь я Геркулес, и то мне не под силу было бы вычистить эту конюшню. Я так и заявил Петру Ивановичу. Он рассмеялся и махнул рукой.

— Это еще весьма лестное название для моей канцелярии, она хуже нужника, но что делать, батенька. С этой ерундой связана ежемесячная получка жалованья, а без жалованья я жить не могу. Я по-прежнему живу на два дома (вот познакомлю вас с Клавдией Александровной, она наверное вам понравится), расходы велики; надо от-

куданибудь почерпать и доходы. Строго судя, надо бы бросить литературу и заняться канцелярией, потому что литературный труд почти ничего мне не приносит. Подлец Киркох один сколько должен, а не посылает ни гроша, хоть судом с него требуй. Так опять бросить жалко. Каков ни есть, а все-таки талантишко и его не следует зарывать в землю, скорее же зарыть все эти подтверждения и понуждения...

И я стал ходить три раза в неделю в дом Петра Ивановича и заниматься с Петей, а после урока заходил обыкновенно в канцелярию и понемногу из груды бумаг выделил такие, которые требовали немедленного исполнения, хотя уже лежали целые месяцы. Я писал на них ответы под диктовку Петра Ивановича, Митька переписывал, подавал Петру Ивановичу на подписание, и затем сдавал или отправлял куда следует.

Это лето 1870 г. прошло весьма скучно и однообразно. Утром занятия дома своими делами (я продолжал учиться), потом урок у Проневского или у Каскевич, вечер опять или дома с Дубровскими, или внизу у Каскевич, или у Шевяковой.

Когда наступила осень, я порешил прискать себе квартиру более удобную, чем комната у Дубровских, где было и тесно и душно. Кто то сказал мне, что у старухи Зубовой отдаются две комнаты со столом и я отправился к Зубовой.

Софья Николаевна Зубова представляла, так сказать, гнилой пень в роще, состоящей из Зубовых, роще довольно обширной. В одной Вологде трудно было бы пересчитать всех Зубовых, а если бы прибавить сюда и тех членов этого рода, которые рассеяны по лицу России, то составилась бы порядочный лесок.

Зубовой было уже за 70 лет, но она еще считала себя девицей и держала себя как девица. Жила она одиноко, пользуясь подаянием родственников, впрочем и сама работала, именно вышивала шерстями подушки и отдавала в занимаемой ею квартире две комнаты нахлебникам. Теперь эти комнаты стояли свободными. Они мне понравились: светлые и уютные с хорошей мебелью и стоили с обедом 10 рублей в месяц. А так как мой заработок равнялся 25 р. в месяц, то я и переехал к Зубовой.

Хозяйка моя поглянулась мне вначале, несмотря на то, что была безобразна как чертовка. Она трудилась с утра и до ночи, вставая из за палец только для того, чтобы напиться чаю, и пообедать. За такое необыкновенное трудолюбие ее нельзя было не уважать.

Держала она себя с достоинством, как истая Зубова, предки которой фигурировали в истории и родственники которой фигурируют теперь на разных „постах“. Притом она не надоедала мне нисколько, не беспокоила меня никогда, кормила как следует и в заключение говорила со мною по французски, что было полезно мне для практики; нередко мы читали друг другу вслух какую-нибудь французскую книгу.

Но это было в начале, в конце оказалось не то.

Как-то я, зайдя под вечер к Софье Николаевне, встретил у ней молодого человека, которого старуха рекомендовала мне как своего старого знакомого и назвала Александром Осиповичем Костровым. Это был высокого роста парень, с широкими плечами, широким четверо-

угольным лицом, крошечным носом и с большущими руками и ногами. Блестящие серые глаза смотрели умно из под тонких прямых бровей, русые волосы торчали космами и свешивались на лоб. Одет он был довольно пестро и выговором, манерами и хохотом похожим на ржание лошади, изобличал свое звание. Действительно, он был сын дьякона.

Каким образом Костров познакомился с Зубовой я не знаю и что у них могло быть общего—не понимаю, но он бывал у нее не редко. Думаю, что бывал с целью поучиться хорошим манерам у аристократической барышни, хотя и 80-ти летней, и вообще пообтесаться. Зубова же принимала его вероятно потому, что ей, как девице было приятно провести час-другой *tête à tête* с молодым человеком.

У Кострова уже тогда, когда ему не было еще 20 лет, поставлена была прямая и определенная цель—выйти в люди во что бы то ни стало, понимая это в смысле выгодного места и известности. Он стремился к этой цели замечательно энергично и последовательно и—достиг ее.

Жеребьячья порода—порода настойчивая, неуклонная в преследовании раз намеченных целей. Костров своих целей достиг, говорю я, каковы бы они не были. В описываемое мною время он занимал должность консistorского писца, получая 8 р. жалованья. Теперь он занимает видное место в Петербурге и если будет некогда министром почт и телеграфов, это меня нисколько не удивит.

За знакомство со мной он ухватился, разумеется, обоими руками, как будто ему поднесли к носу банковый билет в десять тысяч и спросили: не хочешь-ли. Тотчас же сделал мне визит, а на другой день я был у него и с тех пор наше знакомство не прекращалось. Отец его был тип: без малого сажень ростом, растительность на голове ужасающая, голос как иерихонская труба и нос таких размеров, что весь Иерихон въехал бы в него свободно.

У него был свой дом в Зосимовской улице. Кроме Александра он имел еще двух сыновей: Аполлона и Андрея и дочь Анну.

Читатель не должен дивиться этому количеству азов. Не умри дьяконица случайно, когда она можно сказать только что начала производить на свет жеребчиков и кобылочек, у дьякона было бы по пятку детей на каждую букву азбуки, так, по крайней мере, он положил, женившись на дьяконице, но бог наказал его за гордыню и он должен был ограничиться одними азами.

Второй сын—Аполлон, был и глуп от природы и нем, но и ему нашли место—сперва на колокольне в качестве звонаря, затем он стал почталионом, потом станционным смотрителем и если станет некогда товарищем министра почт и телеграфов, я тоже дивиться не буду.

Третий сын, Андрей, выгнанный из семинарии за леность, ходил еще в халате при начале моего знакомства, теперь он—телеграфный механик и если будет сделан директором телеграфного департамента, опять таки я удивлен этим ни мало не буду.

Людям мыслящим и чувствующим жеребьячья порода правиться не может—это не подлежит сомнению, потому что у людей этой породы нет нерв, а есть белые шнурки, протянутые по всему телу и служащие для передачи мозговых импульсов мускулам; в них нет и сердца, а есть мускул, назначение которого—двигать кровь, мозг

их развит, они люди неглупые, но крайне односторонние, словом это—материалисты *pur sang*, материалисты убежденные в том, что они покорят мир—и покорят, несомненно покорят. Они „идут“, и все рушится, все преклоняется перед ними, потому что они—сила, противостоять которой не может никто и ничто. Твой мир, жеребьячья порода, несомненно твой...

Природного ума у них вдоволь. Знания они приобретают, если не быстро, то усваивают их необыкновенно прочно, потому что приобретают их упорным, дьявольским трудом, но какие знания. *Только* такие, которые им нужны для достижения своей цели, это знание не для знания, а как орудие для достижения цели, потому что усвоив известное знание, или часть науки, они уже ничего больше знать не хотят и не интересуются никаким иным знанием. Терпение у них ослиное, никакие неудачи их не пугают; унижение,—так нет такого унижения, на которое они не пойдут, лишь бы добиться своего; смелость их—чудовищная. Если потребуется вырвать язык у крокодила, он, Алеша-попович, не задумываясь ни минуты, закинет свою ручицу крокодилу в глотку—и вырвет. Никакие болезни и недуги их не пронимают, потому что они созданы из гранита, ограбить ли кого—они ограбят, потому что отцы их и деды—грабители по профессии; бога у них нет, потому что отцы их с детства твердили им:—знай ты умная голова, что боги это наша выдумка; вера у них в себя лишь: на себя надейся и сам не плошай.

В половине зимы мне предложены были уроки в доме Левашевых с двумя мальчиками. Эти уроки послужили поводом к освобождению моему из под надзора полиции, и вот именно как.

Что я не разучился давать уроки, живя в Тотье и продолжал давать их по приезду в Вологду, это не могло конечно скраться от жандармского полковника, но он молчал, пока эти уроки ограничивались „какими-нибудь“ Смекаловыми или Проневскими. Смекаловы были издавна на дурном счету в глазах охранителей „корней“,—Проневский же прямо считался „красным“ и сделать его сына *краснее*, чем сделает это сам отец—невозможно, значит опасности в прямом смысле для „основ“ и „корней“ Российской Империи в уроках моих у Смекаловых и Проневских почти не заключалось. Если разбойник станет учить детей разбойника разбойничать, то от этого число разбойников не увеличится. Но вот я вхожу в дом Левашовых, известных аристократов, людей богатых и влиятельных, у которых огромная семья—это уж другое дело. Если вся эта семья покраснеет—это уж не шутка. Тут уж я являюсь волком, забравшимся в овчарню. Думая так, полковник фон-Мерклинг и обратился к губернатору с предложением принять меры.

Губернатор посылает ко мне на квартиру полицеймейстера. Полицеймейстер новый, Суворов, не знает вовсе, что я за личность, может быть встречу его с пистолетом в руках, а у него жена и дети, потому берет на подмогу частного пристава и является.

— Вы даете уроки?

— Даю.

— Но как же? Ведь вы дали подписку, что не будете давать.

— То-есть я не давал подписки, а с меня ее взяли, это большая разница.

— Жандармский полковник (оглядывается, ища стула; пристав хватает стул и подает, а сам становится у дверей. Пристав этот довольно замечательный: чрезвычайно похож на негра и существует легенда, что он был принесен течением из Африки и выброшен на берег у Архангельска, в волосах его до сих пор сидят раковины, водоросли и проч.), обратился к губернатору, а губернатор накинулся на меня: вы чего смотрите. А чего мне смотреть? Потрудитесь еще дать подписку в том, что вы не будете давать уроков.

— Извольте.

Я сажусь к столу, беру бумагу и перо и спрашиваю:

— Что прикажете писать?

— Да пишите, как знаете, только бы была подписка.

Он сидит у моего письменного стола и берет в руки какую-то тетрадь.

— Позвольте вас спросить: вы имеете предписание сделать у меня обыск?

Он взглянул на меня удивленно и говорит:

— Нет, не имею.

— Так прошу вас не трогать моих бумаг.

Он конфузится и кладет тетрадь на место.

— Так потрудитесь продиктовать мне что вы желаете, чтобы было здесь написано. Я ведь пишу не добровольно, а потому, что надо мной стоят полициймейстер и частный пристав. Согласитесь, не могу же я дать подписку в том, что я, добровольно, в угоду жандармскому полковнику и выше его стоящих, осуждаю себя на голодную смерть.

Полициймейстер стал диктовать, я писал:

— Подпишите вашу фамилию.

Я написал: подпишите вашу фамилию.

— Что же это такое!?

— То, что вы мне продиктовали.

— Я вас попрошу переписать и вместо этих слов написать слова: дворянин Николай Иваницкий.

Я написал.

Полициймейстер встал, спрятал подписку в карман и уехал.

Я рассказал все это т-те Левашовой. Она пришла в страшное негодование, оделась и покатила к губернатору. Вернулась и стала ругать на пропалую всю вологодскую администрацию.

— Этот несчастный полячишка, шамша (прозвище губернатора)— совершенная тряпка, которой Август-фиш (произвище жандармского полковника) хлещет как ему угодно. Я, говорит, не имею ничего против того, чтобы Иваницкий давал уроки вашим детям, но *тот* настаивает, чтобы я запретил, и если я не запрешу, то Мерклинг и на меня напишет донос. Я получу выговор, а Иваницкого отправят в Яренск.

— Я знаю, что мне делать, сказала Левашова, подумав немного. Вы, Иваницкий, оставьте уроки ненадолго, не ходите к нам все недели две; в две недели я надеюсь устроить это дело.

Через две недели меня пригласили в Полицейское Управление и объявили, что, по распоряжению Министра Внутренних Дел, я освобожден из-под надзора полиции и могу жить где мне угодно, „исключая столиц и столичных губерний“, эти слова прописаны и в выданном мне паспорте.

Дело объясняется просто одною фразой: родная сестра О. А. Левашевой была замужем за Эссен, товарищем Министра Юстиции.

Я сейчас же отправился к Левашевой и поблагодарил ее за хлопоты, хотя она и хлопотала исключительно в своих видах. Уроки мои возобновились и г-ну фон-Мерклинг не оставалось ничего другого, как кусать свои эстляндские ногти.

Французские диалоги мои с m-lle Зубовой прекратились внезапно, вот по какому случаю. Однажды у меня из комода пропал сверток, заключавший в себе фунт монпансье; я промолчал, стал только запирать комод. Затем, вернувшись как-то домой с урока, я вздумал выпить рюмку доппель-кюммелю, купленного мною уже давно, но стоявшего в углу за комодом еще нераскупоренным. Взяв бутылку, я к удивлению моему заметил, что половина содержимого выпита, пробку же от бутылки нашел в другой комнате под кроватью.

Кто же это выпил: сама ли хозяйка, или кухарка. Этот вопрос разрешился вскоре.

В рождественский сочельник я слышал, как С. Н. Зубова послала кухарку в кабак за осьмушкой водки и прибавила еще, что водка эта нужна ей для того, чтобы вытереть стекла в окнах и на картинах.

Ну чтож, это прекрасно. Только вечером слышу у Софьи Николаевны что то стукнуло, брякнуло, зазвенело. Думаю уж не ударил с нею; пойти посмотреть.

Прихожу и что-же? Софья Николаевна сидит в своей спальне среди полу; подле нее табуретка, на которой она сидела, лежит на боку, с другой стороны осколки чайника, лужа чаю, от которой идет пар.

Софья Николаевна смотрит на меня мутными глазами и улыбается: мотает головой и говорит: „а я упала“. Смотрю—пьяна.

Вскоре после этого я выехал от Зубовой, наняв первую попавшуюся на глаза мне комнату в доме какой-то Готовцевой.

Комната эта была отчаянная, да и не комната, а щель подле кухни, где я буквально коптился в дыму как какая-нибудь колбаса.

Выезд мой отсюда ускорила сама хозяйка, попросив меня оставить „квартиру“, потому что она хозяйка девица (немного помоложе Зубовой) и—боится толков. Я не считал даже нужным ее выругать и переехал к некоей вдове Соколовой в низенький старый домик на Екатерининской улице, где занял две сырые и холодные комнаты.

Первую ночь на этой квартире я едва мог заснуть от холода, но приписал этот холод тому, что печь давно не топилась, так как квартира стояла пустою и не успела прогреться. Но на утро, осмотрев мои палаты во всех подробностях, увидел в полу под плинтусами та-

кие щели, что в них можно было просунуть пальцы, а в углах бедел снег.

Что было делать. Искать новой квартиры и некогда, да и расходы новые на переездку. Живя на квартирах, я уже давно принял за правило не утруждать хозяев просьбами о каких бы то ни было поправках, потому что такие просьбы в большинстве случаев напрасны, а или сделать эти поправки самому, если они незначительны, или же позвать столяра, печника или кого другого, заплатить ему за работу и затем вычесть эту плату из квартирных денег. Хозяева обыкновенно посердятся за это, но в конце концов примирятся, сознавая в глупине души, что я прав.

В данном случае требовалось только законопатить щели и двери, а это я мог сделать сам. Старая немецкая библия обречена была на конопатку. Все пятикнижие ушло в щели под печкой, в один угол забиты были пророки с псалтирем, в другом цари иудейские и израильские, в третий Иов с притчами, в четвертый весь новый завет, переплетом же заставлена дыра в стекле. Стало заметно теплее, но все еще нельзя было сидеть за столом спустя ноги, а только поджавши их. Около печки стояла широкая двухспальная кровать и так как матраца на ней не было (я спал на шубе),—то мне и пришло на мысль превратить эту кровать в мезонин; именно, я поставил на нее стул и стол и сюда „уходил“ заниматься.

Я только что устроил все это, радуясь своей находчивости, как постучались в дверь. Я пошел отпереть. Вошел Саша Дубровский, а за ним молодой человек, лицо которого показалось мне очень знакомым.

—Я привел к вам нашего знакомого и вашего бывшего товарища, сказал Саша.

Молодой человек подал мне руку и сказал: Капацинский.

Этот Капацинский учился во 2-й Петербургской гимназии и тоже был пансионером, но тремя или четырьмя классами старше меня. Будучи замешан в Каракозовской истории, он был сослан в Яренск, где и прожил целых пять лет. Теперь выпущенный на волю с теми же ограничениями, как и я, он приехал в Вологду с целью приискать себе здесь занятия, а если нет, то в Ярославле.

Я предложил ему поселиться у меня, если пожелает нанять другую более удобную квартиру вместе со мной. Он согласился на это с радостью и Саша сейчас же сбегал за его вещами.

Капацинский представлял яркий пример высказанного кажется не раз в моих записках положения, что если человек сам по себе хорош, то его не испортят ни тюрьма, ни ссылка, ни что на свете. Попасть из университетской аудитории в крепость, просидеть здесь год, путешествовать по этапу до Яренска и прожить в Яренске пять лет это хорошее испытание, я полагаю.

И что же? Человек, прошедший *все это*, остался умным, и добрым, и честным, и нравственным.

Месяц, который я прожил вместе с Капацинским, всегда вспоминаю с удовольствием. Мы стали друзьями. Мы не могли наговориться, не могли нарадоваться тому, что, по взаимной проверке, блистательно выдержали искуc и теперь можем ничего не страшиться.

Однако, несмотря на все старания, ни уроков Капацинскому, ни квартиры не находилось. Наша квартира стала, правда теплее, вместе с тем, как потеплела погода, так что я уходил в мезонин только по вечерам, днем же мог жить внизу, но за то появились мокрицы, которые падали Капацинскому на голову, запутывались в его курчавых волосах и приводили его в ужас, несмотря на то, что мы пришли с ним к решению — ничего не страшиться. Из-под полу выползали ящерицы, Капацинский даже рассказывал, что в мое отсутствие из-под печки выглянула лягушка, но когда он плеснул на нее чаем, она „рвавкнула“, скрылась и больше уже не показывалась; с потолка капала вода.

Наконец мы порешили выходить хотя бы весь город, а найти другую квартиру. После долгих поисков зашли в небольшой желтый домик на Петровке и тут нашли довольно просторную и чистую комнату, которую и решили нанять.

Осматривали мы эту комнату в полдень, когда ее пригрело и осветило солнцем, осматривали поверхностно, сейчас же перевезли свои вещи, а сами отправились к Дубровским и, вернувшись домой часов в 9 вечера, остановились среди комнаты и уставились друг на друга с вопросительными знаками на лице.

— Вы что чувствуете?

— Холодно. А вы?

— Сыро.

— Как в погребе. И чем это пахнет?

— Грибами.

— Мало того: лишаями, мхами и водорослями.

— Мокрицами и пауками.

— Здесь удобно жить ботанику: не нужно ходить на экскурсии, все под руками; можно превосходно заняться микроскопическими исследованиями низших растений.

— Стоит только выписать микроскоп.

— Я вам советую выписать гартнаковский, если вы останетесь на этой квартире.

— А я вам советую Нашэ, если вы останетесь на этой квартире.

Я подошел к постели и ужаснулся: подушки, одеяло и матрац были совершенно мокрые.

— Я вам желаю спокойной ночи, если вы ляжете на эту постель, сказал я.

— Ну уж я все-таки лягу, я страшно устал.

— Да ведь вы заплесневеете к утру.

— Ничего, вымоюсь как-нибудь, спать хочется до смерти.

И Капацинский лег не раздеваясь и скоро заснул, а я надел пальто, калоши и шапку, сел и читал часов до двух.

Сон стал клонить. Я положил голову на руки и заснул.

Мне привиделось, будто я, окутанный непроницаемым холодом, туманом, падаю куда-то с ужасающей быстротой, вскрикиваю и просыпаюсь.

Проснулся от моего крика и Капацинский.

— Что вы это, Ник. Алекс., как вы меня испугали. Вам привиделось что-нибудь.

— Я и сам не помню, как заснул и чего-то испугался.

— Который час?

— Три часа.

— Я весь продрог.

— Можете дрогнуть сколько хотите, а я завтра, т. е. сегодня уезжаю в Тотьму.

— А я в Ярославль.

Утром рано Капащинский уехал в Ярославль, а я в 10 час. утра отправился к Шевяковой и попросил у нее чемодана, так как мой стал уже плох.

— Ты уж не ехать ли куда вздумал? спросила она.

— Я еду в Тотьму.

— Да ты в своем уме, или не в своем? Отец родной!

— А что?

— Да кто же в этакое время ездит. Одни помешанные. Ведь ты видишь: ни на санях, ни на колесах..

— Где нельзя ни на санях, ни на колесах, там я пешком пойду, а все таки сегодня поеду.

Шевякова пустилась иронизировать на счет моей поездки, но все-таки я взял у нее чемодан, занес его на квартиру, оттуда зашел на почтовую станцию и заказал пару лошадей к пяти часам вечера, потом зашел к Смекаловым проститься.

Здесь все онемели от изумления, когда я сообщил свое решение. Пользуясь этим живо распрощался и пошел домой. Петр и Саша Дубровские пошли со мной.

— Опять приходится вас провожать, говорил Петр, впрочем теперь несколько иначе. А все-таки жаль. Как вы рассказывали про Тотьму, и в самом деле там лучше, а то здесь с этим идиотиками возиться. Я не знаю как Левашовы, а уж Каскевичи так остолопы порядочные, о Проневском и говорить нечего. Расплатились они с вами?

— Все расплатились. Левашовым и Проневским я написал письма: говорю, что должен уехать. К Левашовым надо было по настоящему сходить проститься, я ведь ей обязан тем, что *могу* теперь ехать в Тотьму, при том же они звали меня с собой на лето в деревню и я почти обещал, ну да черт с ними.

— Разумеется, все это чепуха, эти надутые аристократы, сказал Саша, только жалко, что вы уезжаете. Я бы поехал с вами, если бы мог. В Тотьме должно быть очень хорошо.

— Я теперь не нужен вам, Саша, теперь вы уж на дороге.

— Да, я вот ни разу и не поблагодарил вас, ну да вы знаете.

И он сдвинул пальцами мой локоть.

В пять часов лошади пришли. Я уложил свои вещи в тарантас и поехал. Саша и Петр доехали со мной до соборного моста и здесь мы простились.

Дорога была действительно ужасная. Первую станцию проехали на колесах, вторую кое-как проволочились на санях. Но в ночь выяснилось и к утру подморозило. Я оставил почтовых лошадей и нанимал одну лошадь от деревни до деревни. На половине дороги, это было во вторую ночь пути, мы только что спустились с горы к речке Моле, как сзади послышался колокольчик. Лошадь, запряженная в небольшие сани, мчалась вихрем с горы. Мы поспешили отвернуть, иначе она налетела бы на нас. Лошадь промчалась мимо, давши нам своими санками такого толчка, что мы опрокинулись, но вслед затем вывалила в ухабе и своих седоков. Я вышел и увидел лежащим в снегу старика с седой бородой. Это был дьякон. Ямщик поднимал его. Дьякон не жаловался, только спросил: колокол-то цел ли, ребяташки.

В передке его саней лежал колокол, который дьякон вез из Вологды в Кокшеньгу. Он-то и разогнал с горы его сани. Мы познакомились и условились ехать вместе.

Был страстной четверг и в церквях благовестили ко всенощной, когда мы въехали в Тотьму. Я велел ямщику подъехать к дому Ерыкаловой и осведомился, не свободна ли квартира Василий Максимович охотно согласился уступить мне маленькую комнату, которую он занимал ранее при мне и при Гирсе, и я занял ее.

ОТ РЕДАКЦИИ.

Настоящей главой Редакция пока заканчивает печатание в журнале Север „Записок Н. А. Иваницкого“, так как в дальнейшем они уже не имеют того общественного интереса, повествуя больше о личной судьбе автора. Правда, его пребывание на юге России, а затем служба на телеграфе в различных городах Севера, описанные очень живо и колоритно, представляют значительный бытовой интерес, но они все-же больше характеризуют самого автора и поэтому Редакция, имея в своем портфеле материалы более интересные для познания Края, оставляет печатание Записок до того времени, когда об Иваницком найдется больше данных и, быть может, отыщутся последующие части записок.
